Алесь Адамович

Асия
Последний отпуск

Повести

Минск
Мастацкая літаратура
1975

АСИЯ

1

К себе в гостиницу Дубовик возвращался ночью. Пролился теплый дождь, и асфальт желто, маслянично отсвечивает. Шаркающие шаги, голоса гуляющих.

Дубовик спешил домой. Обдумывал то, что должно стать рассказом. Это не столько мысль, сколько радость, что оно уже в тебе, тончит стенку, вот-вот прольется твоим теплом, тобой... Да, начать с заводского клуба, построенного в свое время в виде самолета, — взлетающего, а потому с очень высоким фасадом, крыльцом. Ступеньки, ступеньки, а по ним поднимается человек, для которого это уже трудная работа. Пока поднимается на веранду клуба, всех разглядит и поздоровается и припомнит, кто чей и каким кто был двадцать пять лет назад... И мысль про эти двадцать пять лет неотступная в нем, хотя в других она опадает.

В тесной прихожей большого жилого дома, приспособленного под гостиницу, светло и пусто. Лифт уже не работает, придется хромать наверх. Из боковой комнатушки выглянула сердитая со сна дежурная. Эх, тетя, смотрела бы так же сердито на моего соседа!

Включил у себя в комнате свет, и глаза, радуясь, нашли белое поле бумаг на столе. Зажег настольную лампу, вернулся к двери и выключил люстру, чтобы не чувствовать за собой всю комнату. Соседа за стеной не слышно. Слава богу!

...Долго поднимается Дубовик по ступенькам клуба рядом с бывшим директором своего детдома. Они то вместе (даже своя нога начинает ныть!), то вдруг врозь, и тогда Дубовик и на самого директора смотрит отчужденно, с холодком. Ты понимал, что «дети за отцов не отвечают», а того типа, который обзывал нас «вражьими подкидышами», даже пробовал выгнать с работы. Но и ты, наш добрый человек, не знал или же старался не замечать того, что видел десятилетний Коля Дубовик. Как плакали в подушки мальчики. И как испуганно держали друг дружку за руки две девочки и по очереди носили грязную куклу, купленную мамой, их мамой, которую и ты, директор, советовал не любить, а любить того, кому даже на конфетах написано было наше детское «спасибо».

...Дубовик вставал из-за стола покурить и снова садился. Но вот услышал в общей прихожей шаги. Ага, сосед! Кого-то продолжает убеждать честным, даже обиженным голосом. Ему надо зайти к себе только на минутку, пусть она не думает.

И все бы ничего, даже эта заколоченная тонкая дверь, если бы не злоба, сразу вспухающая в нем, как только Дубовик услышит этот гортанный, обволакивающий голос и будто увидит знакомую физиономию, круглую, как тарелка, с приставшей грязью усиков, а в профиль — все равно орлиную.

Дубовик стал насвистывать, толкнул стул, чтобы поняли, какая здесь слышимость. Нет, хоть бы пластинку менял, скотина. Сейчас будет жаловаться, что искусство — добровольная каторга. Но сегодня он, видите ли, решил сбежать с каторги, не поработать вечерок. Да, кстати, у вас характерное лицо. Вам этого еще не говорили, не приглашали сниматься?..

Дубовик включил репродуктор, чтобы не слышать ненавистного голоса. Вспомнил про соседа, когда репродуктор, пожелав спокойной ночи, замолк, а за заколоченной дверью поднялись резкие и уже враждебные голоса. Вскрик, липкий удар! Удар, удар... Женский хохот, похожий на рыдание. Дубовик внезапно обнаружил, что он, до глаз налитый чем-то горячим, уже у ненавистной двери. «Эй, ты!» — и ударил в нее собой, тяжелым и злым. И пролетел в темноту вместе со светом из своей комнаты. Остановился, готовый к чему-то и сознавая, что сейчас окажется смешным, дураком. И действительно, сразу поглупел от неожиданности: у противоположной двери девичья фигура в темном платье, с черной от густых прямых волос головой, а возле стола в нелепо широких белых трусах — сосед! На Дубовика смотрят длинные и дико спокойные женские глаза. И мужские — округлевшие от испуга и бешенства.

Женская фигура скользнула мимо. Непонятно глянули глаза с поразившего незнакомой красотой и странной детскостью лица. Дубовик увидел, что оно мокрое от слез. Теперь он знал, что сделает. Стукнула, выпустив беглянку, дверь в его комнате. И сразу ожила мужская фигура, все более свирепея от своей нелепости. Загремел посудой и бутылками стол. Белые щеки, круглые глаза, усики — это Дубовик сейчас ударит! Давно не было все так просто. И все же Дубовик сделал шаг назад: слишком явное было преимущество его, высокого, рукастого и одетого (главное — одетого). Надо, чтобы его враг подтвердил чем-то это слишком простое решение — ударить. Но вдруг заметил, что рука, оттянутая назад, затаенно блестит, и сразу ударил ногой, пытаясь выбить это. Левая была неосторожно выставлена вперед, и он пнул больной ногой, но колено не подчинилось, пожалело себя, убоялось боли. И боль вонзилась в бок, горячая, скрипнувшая. Двумя руками толкнул в круглое и неожиданно твердое лицо. И пошел, не позволяя себе упасть. На столе

— плывущие в красном свете страницы начатого рассказа. Как давно это было.

Ощущая, как тепло слипаются пальцы, прижатые к боку, сел на кровать. А перед ним кто-то с испуганным криком:

— Слушай, друг, я тебя звал? Звал, скажи? Кто тебя звал?..

И тогда услышал себя — это был чужой, как с магнитофонной ленты, голос. Голос матерился.

2

...Асия сбежала по лестнице, чуть не столкнув поднимающуюся навстречу сердитую дежурную, и выскочила на улицу. Ночная сырость коснулась плеча, как чужая рука. Порвал... Подонок, подонок!

То, что произошло, не было полной неожиданностью для Асии. Она убеждена, что многое повидала в свои двадцать шесть и особенно за шесть последних лет, когда ушла, уехала из дому. И все же сегодняшнее ударило, как ничто и никогда прежде. И как раз, когда она больше не может и не ждала... Зашла с ним в номер, поверив, что ему действительно должны звонить из дому. Она даже знает его домашних. К тому же — когда-то он, кажется, был влюблен в нее. В институтских коридорах провожал ее глазами артиста немого кино.

Она обрадовалась ему! Гиви! Так хорошо, что это ты, Гиви!..

Нет, не следовало заходить, ведь она все, все знает. Но почему, почему нельзя просто, за всем обязательно, как проклятие, — ты женщина! Раньше ее веселило, что решает все-таки она. И что бы ни случилось, была уверена, что остается сама собой. И умела тотчас забывать. А если помнила, то как-то со стороны: будто фильм, ею самой поставленный. Даже исключение из аспирантуры вначале приняла с тайным облегчением. Вместо диссертации писала сценарий. Но сценарий не пошел. Любопытство, очень у вас все это зримо, даже очень, но зачем это? А ведь и правда: зачем? Страшное слово.

Общежитие пришлось оставить. Пробовала писать рецензии на новые кинофильмы. Несколько даже напечатали. И одно стихотворение — самое нелюбимое. Последние два месяца ночевала у подруги, но мать Кларки убеждена, что даже курить ее девочка начала после знакомства с Асией. Приходилось дожидаться, пока в доме уснут. На условленный стук Кларка открывала окно. Босиком бежала к холодильнику, кормила в темноте. И давилась смехом, если надо было куда-то сходить. Дошло до того, что Асия оглянулась на заговоривший с нею «пиджак с портфелем». И пошла с ним в ресторан с той мстительной легкостью, с какой делала многое, особенно впервые. Но не успела сесть за столик, как поняла, что такую она себя не вынесет.

Поднялась и ушла. И хотя ушла, что-то осталось в ней — не свое. И поняла, что она становится чужой уже и самой себе.

Вчера мать Кларки, проследив, выгнала из дому.

Асия ненавидела себя в ту минуту. Ушла, как окаменевшая. И прогнала от себя Кларку, когда та выбежала вслед со слезами.

И вот встретила его. Ей так необходимо было, как от самой смерти, уйти от себя, от сегодняшней.

А выходит, он с самого начала видел в ней только одно. Был почти друг и внезапно — враг! О, Асия хорошо знает это, когда тебя хотят ограбить! Даже не скрывая, что только это и надо, отбросив даже доброе воспоминание о себе. А именно он, именно теперь не должен был... Восточные страсти изображал, шантажировал: «В чем уйдешь? Дождешься, что милиция еще явится. Хочешь, я разденусь?» Убежден в своей мужской неотразимости, поросенок несчастный.

Никогда Асия не чувствовала себя такой грязной. От слез не легче, а еще невыносимее. Зло смеялась прямо в лицо ему. О, он почувствовал, какой это смех! Изо всей силы бил по мокрому лицу, а она даже не закрывалась. А ведь за два часа до того казался совсем иным. Но раз попалась — ограбить! Как это делается — знает. Можешь ненавидеть. Можешь и не существовать. На его век хватит. О, она показала ему, кто он...

Господи, но что же это? И что со мной, куда я бегу?

Навстречу мчится трамвай, поздний, пустой. Он словно свет развозит по городу, погасившему огни. Резко заскрипев, остановился. Дверь со стуком распахнулась — Асия вскочила в длинный вагон. Никого, только женщина-кондуктор, просунув голову в темную кабину, разговаривает с водителем. Асия прислонилась к окну. Вздрогнула, ощутив щекой холод...

Пустой, яркий трамвай несся меж домов, скрипел на остановках, распахивались все двери, никто не входил и не выходил, и он мчался дальше, раскачиваясь все сильнее. Только бы не кончалось это!.. Но вот вагон притишил ход, со скрежетом и рывками круто пошел в сторону. Кондуктор глянула на Асию удивленно и сказала:

— Конечная.

Двери распахнулись — теперь для нее. Асия вышла. Свет от трамвая и из-под деревянного навеса, тоже пустого, блестит на петле рельсов, уводящих назад. Нет, только не назад! Сюда ей и надо, сюда она ехала, она такая грязная, каждая клеточка чужая.

Асия пошла по топкому песку к озеру, дымносерому, пахнущему холодом и хвоей. Только не назад, не к тому, что было, будет!.. Большие деревянные грибы странно чернеют у самой воды. Порвался

ремешок. Асия подняла босоножку, но тут же бросила, оставила в песке и вторую. На ходу и словно боясь все понять, додумать, стала стаскивать тесное в талии платье и, уже не понимая зачем, — все, что на ней, готовая и кожу сорвать, противную, грязную, не свою... Песок мягким холодом ласкает подошвы ног — чист только холод, — и Асия ищет его, идет навстречу ему. Вот он уже по щиколотки, выше, выше... Асия заспешила всю себя отдать холоду, чистоте, легла на воду. Нет, еще мелко. Поднялась и пошла, удивительно ясно видя себя — тонкую, одинокую человеческую фигурку, уходящую в озеро. Она дрожала и спешила дрожь эту поскорее утопить. Снова бросила себя на воду. Всю.

Она знала, что будет, и знала, что это будет не сразу и даже не скоро. Пока она не уставшая, она даже не боится и будет плыть так далеко, как никогда еще не заплывала.

Она долго плыла в нестойкой темноте. Навстречу ночи, в глубь ночи.

Было странно, что не темнее, а светлее стало. Это она заметила как-то внезапно. Асие показалось, что и звезды ушли вверх сразу, как бы от ее взгляда. Берег отнесло назад. Вода из грязно-серой делается зеленой. Цвет этот идет из темной глубины. Каждым взмахом руки, движением ног она одолевает не расстояние (его уже не существует), а эту зеленую поджидающую глубину.

...Снова оглянулась. Далеко-далеко желтая полоса берега, а на ней — темные шляпки деревянных грибов и карточные уголки палаток с привязанными ленточками утренних дымков. Правее, над высоким берегом, — сплошные синие и желтые балконы пансионата. Все собиралась пожить там. Как далеко теперь все это.

Асия плыла на боку. Зеленый цвет делается все гуще, тяжелее, и, словно от него, плыть все труднее. Цвет этот будто из твоей глубины поднимается. Зеленое было окно, на которое она — впервые и так странно влюбившись — смотрела. И он это знал, и хозяйка зеленого абажура, к которой он всегда, невеселый и пьяный, ходил. Вся улица знала. Но так уж у Асии получается: сразу обо всем забывает, ничто не важно... Отец больно побил ее. Хлестал желтыми багажными ремнями, а сам боялся, что услышат соседи. Ругался шепотом, беспомощно красный, потный, в золотых запонках.

Два года спустя Асия снова увидела того, за кем ходила, как собачонка, и от кого убегала, стоило ему посмотреть в ее сторону. Отец стоял у машины, а он торопливо объяснял, что пить бросил, что у него теперь семья и он хотел бы вернуться в конструкторское бюро. Увидев Асию, перехватил ее взгляд и покраснел. Она смотрела и не

верила, что этот человек когда-то казался ей таким необыкновенным, таинственным.

Как много было всего, кажется, две жизни прожито. Замужество такое же налетевшее и нелепое. Восемнадцатилетний муж, когда увидел ее груди, ойкнул: «Ой, как у моей мамы!» От трех месяцев осталась память как о чем-то стыдном, все время стыдном. Жили у его родителей. И без конца старались доказать что-то друг другу. Даже дрались, как дети. Спали — и ей было стыдно, что в доме взрослые. Скоро она убежала домой. А он ловил ее вечерами на улице, и они начинали ссориться, но при этом он незаметно уводил, утаскивал ее к огородам, что лоскутными одеялами укрывали предгорья. В один час она решила и уехала из Лениногорска. И неожиданно сдала экзамены в столичный институт. Может, потому, что тогда это было единственное...

Берег уже почти не удаляется: так он далеко. С неба сползла мутная пленка, края его зеленеют, а вся середина — стеклянно-голубая. И сейчас, наверное, на подоконнике лежит стеклянный шар с большим черным пауком внутри. Отец из Германии привез. Господи, сколько всего вокруг человека! Как в чужой квартире, которую снял временно со всей обстановкой. Живи и не смей выбросить даже жирные, серые от пыли стеариновые цветы, которые видишь каждое утро возле тусклого зеркала.

Память все поднимается из зеленой глубины. Масляно-зелеными были стены в школе — как дотянуться первокласснику. Асия тогда любила все стихи, которые «задавали». И была толстушка. Это потом сделалась вот такая — как угорь. Посмотрела на светящееся из воды свое тело и словно испугалась, поняв, что оно уже не ненавистное, не чужое, каким казалось там, на берегу... Как просто было все в школе, когда едва доставала до того, что потом сделалось ей по плечо. Она становилась выше, а все — другим. Все, кроме Алтайских гор — солнечно-белых наверху. И у преуспевающего отца не стало успевающей дочки. О, он в самом деле считал, что жил как надо. А когда постарел, все стало не по нему. Обиделся, что жена, которую он будто впервые увидел, — совсем не молодая. И старшая дочка показалась не такой, какую заслужил. И пенсия показалась малой, он долго добивался персональной.

Черные досиня волосы, теперь мокрые, наползающие Асии на глаза, и синие глаза — его.

Бедная мама, сердитая, несправедливая, несчастная. Хорошо хоть, что младшие сестрички с ней...

Особенно помнится, как мать уезжала в горы. Худенькая, в широких штанах, садилась на лохматую лошаденку и долго ехала вдоль толстой трубы, перекинутой из-за горы к зданию электростанции, похожему на спичечную коробку, надетую на чей-то длинный палец. Асии все казалось, что хозяин этого гигантского пальца спрятался за горой, сейчас покажется весь — и ей было жутко. Целыми днями сидела на подоконнике, запертая в хате вдвоем с теплым, а потом все холодеющим горшочком, ненавистно, а потом все вкуснее пахнущим вареным луком. Однажды к дому пришел беловолосый мальчик. Постоял над обрывом: там, среди теплых камней, текла вырывающаяся из толстой трубы речка. Сразу догадалась, что он оттуда, где идет война. Долго рассматривали друг друга сквозь стекло. Уходил он медленно, как взрослый, а ножки — как ниточки. Когда он снова пришел, Асия сидела на подоконнике. Мальчик долго смотрел. Ложкой показала на неплотную дверь. Зачерпнула из горшочка и понесла к порогу. Но донесла только облизать. Тогда принесла весь горшочек. Совала ложку в щель и в рот, раскрытый на улице.

Близко-близко видела помаргивающие глаза, а он ее — немигающие... Как бы они встретились, если бы встретились теперь?

...Асия услышала стон, свой и словно не свой. Устало повернула голову и сквозь волосы, которые липнут к глазам мертво, как водоросли, увидела улетающую чайку, такую белую. Вода совсем посветлела. Рябь сошла. Далеко вокруг мертвое спокойствие, и только от светящегося из воды тела расходятся волны. Видела свои руки, уже вяло борющиеся с глубиной, видела колено, отталкивающееся от пустоты. Слезы, появляясь, тут же уходили в воду, словно и не было их. И вместе с этими, какими-то новыми слезами, которых лицо не успевает ощутить, уходило и то, что было все эти бесконечные часы. Попробовала снова лечь на спину. Теперь вода слизывала слезы не сразу, Асия чувствовала их соленую теплоту.

Уже солнце встает навстречу из-за затемневшего леса, оно разлилось по озеру, радужно лучится в глазах. Низко пролетела чайка, теперь уже розовая. А чтото чернеет двумя точками, втягивается высотой. Детские шарики кто-то упустил? С такой же силой, как их вверх, Асию тянет книзу...

Лежала на воде и видела себя всю. Вода уходит к ногам, не смывая узкую незагоревшую полоску на бедре, завихряется, завязывается узлом у ног.

И уже снова любила себя... Летят ли шары? Какие шары, о чем я? Неужели она сама захотела этого? Она, которая плачет, так хочет

жить. Она, которая сейчас умоляет себя: «Выплыви, прошу тебя, выплыви!»

То забывалась, то вдруг жадно смотрела вокруг и, не переставая, просила: «Только не согласись, что уже все, конец, молю тебя!»

Лающе кричали черные чайки, их становилось больше.

...Когда из воды поднялась девушка и, пошатываясь, медленно двинулась к низкому и тенистому от сосен берегу, мужчина в куртке на молнии и двое подростков, сидевшие у костра, очень удивились. Непонятно было, когда и как она появилась здесь. Шла прямо на них. Но, не дойдя до сухого, сломилась, упала.

...Открыла глаза и увидела над собой темную крышу, но тут же ее проломили острые лучи солнца. Снова посмотрела и теперь увидела, что это деревья.

Вся, с руками, под одеялом. Рядом положены куртка и брюки. Асия села. От костра ей помахали. Оделась и пошла к людям. Мужчина протянул ей ложку.

— Отлежались? Ну как вы? Неужели оттуда приплыли?

Асия не ответила. Все — как за стеной, отошло куда-то. Молча взяла тарелку и стала глотать теплое.

Двое парней яростно дуют в свой котелок, смотрят только друг на друга, и их разрывает от нестерпимой серьезности. Подошел к костру кто-то ещё, высокий, белобородый, со спиннингом. Говорят, кажется, о ней. Ушел. Вернулся с женщиной, очень худой и решительной на вид.

— Идемте, — сказала женщина так, словно она все знает.

Асии было все равно.

3

Больница — особенный мир, где все движется рывками — от осмотра к осмотру, от посещения к посещению. Это для Дубовика тянется уже целый месяц. Из большого мира, ушедшего, как поезд, от которого ты отстал, появляются хлопцы — по одному или все трое — жалуются на жару и рассказывают новости. В гостиницу не придется возвращаться: хлопцы подыскали ему квартиру. На два года уехал хозяин за границу.

Появилась и Лариса. Вошла с улыбкой, поправила одеяло, проверила и пополнила тумбочку, тоном врача сделала замечание сестре насчет несвежих простыней, а в каждой черточке фарфорово-чистого и по-прежнему красивого лица Дубовик легко читал: «Всего ждала, но чтобы ввязался в пьяную драку, резался из-за девок!..*

Наконец ей надоела понимающая улыбка Дубовика, рассердилась совсем как когда-то:

— Весело? Так бы и стукнула!

Миша Чаботарь — институтский товарищ Дубовика, а сейчас новый муж Ларисы — тоже зашел в палату. Вложил в руку больного книгу («Труды Светония издали. Специально для тебя купил, чтобы не забывал, что ты историк»), потрогал свое золотое пенсне, улыбнулся виновато (это он сам), покачал укоряюще узкой с пробором головой (это уже муж Ларисы) и оставил их вдвоем.

А вот Таню не привезли. В пионерском лагере. «И вообще, не стоит травмировать». Лариса никогда не забывает, «кто начал», и не упустит случая напомнить. Продолжает воспитывать его, хотя уж, кажется, довоспитывали друг друга! До развода. Разговаривать о дочери с ней сложно. Но ни о чем другом не хочется.

— Не болеет?

— А почему она должна? Миша любит детей.

— Скоро барышня будет.

— Да еще какая! Упрямая. В батьку.

— Стихи по-прежнему любит?

— И Павлика учит. Жалеет его очень.

Павлик — сын Ларисы и Михаила. И Павлик тоже прав, что он есть.

— Влюбилась уже! — вспомнила Лариса.

— Таня? Бедненькая!

— Смотрю, что это с ней делается. Лицо какое-то испуганное. Заплакала у меня в постели. «Мама, а если еще один мальчик у нас будет?» Потом только разобралась я. Оказывается, соседская девочка просветила ее: дети родятся оттого, что девочки влюбляются.

Когда Лариса ушла, оставив после себя запах чистоты и здоровья, больничная сестра — еще не старая женщина с некрасиво широким и добрым ртом, — спросила:

— Жена?

— Да.

— А этот, в золотых очках?

— Муж.

— Понимаю. Оба вы с ней высокие, красивые. Такие не уступят друг дружке. Надо, чтобы один некрасивый был. Хотя...

Это «хотя» означало: «Я некрасивая, а тоже разошлись». История ее недолгого счастья с молодым учителем, который приезжал «повышать квалификацию», известна всем больным. Впрочем, винит жен-

щина не учителя, а «нашу сестру», которая готова «от самой себя переманить».

Однажды она сообщила Дубовику:

— К вам еще одна приходила. Краля! Будете сердиться, но я сказала, что пока нельзя. Вы бы посмотрели! Брови — узенькие, волосы — космы. Ужас, что мы за дуры! Ага, та самая. Ничего, прибежит еще.

Но когда приходила второй раз, Дубовик спал, и его не разбудили. Записку оставила. От Деда! «Асия теперь наша общая знакомая. На озере познакомились. Сожалею, что не могу Вас навестить. Сам болен. Кажется, мне уже третий звонок. Приходите сразу».

— Сделала ей замечание, — пожаловалась дежурная сестра, — она как идол смотрит.

— Замечание?

— У нас не театр, а больница, — обиделась добрая женщина, — хорошо, пущу без замечаний. Вижу, вам еще мало!

Но «краля» больше не появлялась. Зато открыл однажды глаза, а на табурете сидит мужчина с белозубой улыбкой. Голова красиво, богато, как чернобурка, полуседая: волосок черный, волосок белый... Хоть и стар, но вроде и не стар, как бы искусно перелицован. Дубовик почему-то сразу догадался: отец того Гиви! Профиль орлиный подсказал.

Мужчина, заметив, что больной проснулся, тут же обругал своего «дурака». Потом пожурил всю молодежь. Упрекнул и Дубовика, похлопав по колену, прикрытому одеялом. Стоит ли нам из-за них, из-за баб? Оба виноваты, хоть мой больше.

Оказывается, сынок по-прежнему напирает на то, что тихо-мирно сидел с девушкой, а тут вломился какой-то. Вот и пришлось ему защищать девушку. Вы, конечно, погорячились. Да мало их, что ли, на наш век?..

Дубовик подозвал дежурную сестру и попросил проводить гражданина. Когда тот пошел к двери, стало заметно, что он действительно стар и перелицован не так уж основательно. Дубовик так и не сказал ему ни слова.

Из больницы человек выходит чуть-чуть счастливее. А тут еще ключ от квартиры. Временно — собственная. Стены, окно на далекий лес, диван, два стула, большой стол, телефон и соседи — нормальные, с детьми, не командированные — и все это на два года! Отметили такую удачу. Хлопцы уехали за полночь. Осип как холостяк остался на

диване: устал от споров с Ричардом — неумолимым, железным логиком.

Утром постучали. Голос Цыгана. Осип, недовольный, открыл дверь. Но лицо у Цыганкова необычное. И Ричард подавленно серьезен.

— Дед умер, — сказал Цыганков.

...В зале полумрак от черного крепа на стенах и на зажженной люстре. За окном, на зеленой траве, — уголь для котельной. Такой черный рядом с белой стеной.

Борода, кажется, еще больше побелела: в неживой парадности лежит на широкой груди. Большие руки Деда прячут такую знакомую, ласковую твердость ладоней.

Что уносит эта голова, по-львиному крупная и красивая? Уносит и твое, что теперь без него надо понять. Женщина у окна — большие, как черные птицы, глаза! — часть этой ушедшей жизни. «Моя Полина»... Она весь путь прошла с ним. И вдруг оставлена у порога. Кажется, в этом самое большое ее горе и обида.

Не умеет человек думать о смерти. И война не научила, хотя должна бы. Мысль о смерти — всегда ускользающая. Чем напряженнее думаешь, тем больше походишь на человека, который, стараясь получше разглядеть тень, направляет на нее свет.

К Полине подошла девушка с небрежно длинными и , прямыми волосами. Брови — узенькие, волосы — космы.. Каким-то очень древним, ограждающим движением потрогала платок на плече у Полины, что-то сказала, села рядом.

«Да, это она, Ася», — очень просто подумал Дубовик. Не замечающая никого, кроме Полины и лежащего в гробу Деда, глаза — чуть диковатые, темные, лицо с очень заметными, несмотря на свободно падающие волосы, скулами.

Осип тихо позвал Дубовика:

— Станем вчетвером...

В соседней комнате очередь. Но Цыганков уже держит в руке красно-креповые повязки. С ним Ричард.

Кто-то вполголоса, но все равно громко распоряжается, кому где быть, что нести. Разбирают венки. На столе черно-красные подушечки с орденами.

Молодой энергичный мужчина взял одну, но тут же поменял на другую, на которой орден позначительней.

А потом, неловко толпясь и толкаясь, гроб понесли.

Дубовик шел под широкой частью его и старался следить за неловкими ногами Ричарда. Тяжесть, которую он ощущал плечом и рукой, казалась живой. Подошли и на ходу подменили.

Затем гроб поставили на машину. Бледно-бронзовый профиль поплыл, провожаемый домами, тяжелой мелодией, людьми, что шли следом и навстречу, солнечными окнами троллейбусов, облаками, теплым липовым запахом, театральными афишами на чугунной ограде сквера: «Последние», «Романтики», «Чудак»...

Дубовик смотрел на жену Деда и на ту, что шла рядом с ней. Посторонний человек мог бы подумать, что Полина здесь самый чужой покойному человек. Глаза такие сухие, и такая она прямая — вызывающе и жестко. Всю жизнь, как дар и как укор, несла она за ним свою редкую, как говорят знавшие ее прежде, женскую красоту. И вот в последний раз идет за ним, а рядом — как ее девичье повторение — Асия.

В кладбищенские ворота гроб внесли на руках. Дорожка среди могил поднимается вверх. Крупный лобастый профиль поэта плывет по небу, низкому от собирающихся облаков. А к голове, к волосам, зазолотившимся от последнего солнца, тянется снизу женская рука и, как ребенка, гладит. Вслед, торопливо, в последний раз...

Желтый холмик исчез под венками. Осипа не видно нигде: ушел, когда Грай стал произносить речь. Цыганкова тоже нет. Пошли вдвоем с Ричардом. Он более обычного серьезный. Шли и невольно, как всегда на кладбище, читали надписи, сообщавшие дату, которая была известна покойнику, — день и год его рождения, — и неизвестную ему (именно ему) вторую дату.

У Достоевского есть: человек не жил бы, а мучился, знай он точно, что умрет, допустим, через сто лет, такого-то числа во столько-то часов и минут.

Но сегодня человек, кажется, обрадовался бы такому знанию: ого, сто лет не будет большой войны...

Осипа увидели у выхода. Шли молча. Потом про Деда заговорили. Осип и Ричард постепенно втягивались в спор. Это их нормальное состояние.

У Ричарда — политэконома по специальности и по складу ума (поэтому он еще и Рикардо, Эконом) — на первом плане система, анализ. У Осипа — эмоции. Потому спорят они даже о том, что они принимают или, наоборот, одинаково не принимают. Верх чаще за логикой, системой Рикардо, но это не обезоруживает Осипа.

— Ни слова на веру, — спокойно говорит Рикардо, изучая меню.

— Это ты там вычитал?

— Вычитал у Ленина, если угодно. Когда-то Аристотель сказал, что у насекомых четыре пары ног, и много веков никто не догадался посчитать, сколько же на самом деле их у шестиногих.

— Ну, пропал вечер, — жалуется Цыганков. — Однажды целую ночь проспорили, должен или не должен вертолет летать. По каким-то выкладкам Рикардо вертолет при посадке должен падать.

Рикардо — такой! Он и в партизаны уходил посвоему. Убежал из плена, добрался домой и первым делом — на чердак, куда родители спрятали библиотеку. Перечитал Маркса, Ленина. Все правильно, никакой ошибки. И тогда пошел в лес.

Вернулся с обожженной взрывом щекой и с трофейным томиком Гете на немецком языке.

Необыкновенно покладистый и нерешительный в делах житейских («Эконом, когда наконец квартиру получишь?» — «Вообще, надо бы...»), он упрям и непримирим, когда касается вещей абстрактных. Жена жаловалась хоть и шутя, но с заметной усталостью:

— Квартира, да и мы с сыном — всего лишь явления. А он озабочен только сущностями.

Через три дня в телефонной трубке прозвучал веселый голос Цыгана:

— Мы тут тебя ищем...

И вдруг Дубовик услышал женский голос. Почемуто сразу догадался чей.

— Здравствуйте. — Обыкновенный, чуть глуховатый женский голос. Интересно, а какой он должен быть? — Мне надо вас кое о чем предупредить. И хотя бы поблагодарить.

— Значит, и к вам тот красивый папа приходил?

— Хочет, чтобы сказала следователю, что сидели мирно, тихо...

— Знаю. Не повредит вам, если не согласитесь поддерживать эту версию? На работе.

— На работу я только недавно устроилась. Дмитрий Афанасьевич успел осчастливить мною сценарный отдел.

— Оказывается, Дед и ваш знакомый был?

— Я и живу сейчас у Полины Петровны. Но ее в больницу пришлось положить...

И слова-то какие обыденные. Даже странно.

В трубку втиснулся голос Цыгана:

— Кончай, дубина, профсоюзный разговор. Приезжай...

4

Асия входила в чужой дом и чужую компанию, куда ее потащил Дубовик, с некоторой настороженностью, но и с привычным любопытством. Все плохое, но и все хорошее всегда начиналось вот так, из ничего: не было, а потом стало. Прежде ей нравилось идти навстречу любой неизвестности. Теперь это слишком знакомо. И тем не менее — разве есть что-нибудь важнее для нее, чем это: завязывающиеся и обрывающиеся об острые углы жизни человеческие сближения?

Ага, из женщин здесь — только хозяйка. По-девичьи улыбчивая, уверенно распоряжающаяся грубой мужской силой: «Раздвигайте стол... Павлуша, гусь пригорит, пока ты тут испанца изображаешь».

«Павлуша» — видимо, муж — держа кухонный нож в поднятой руке, медленно поворачивается, навертывает на узкие бедра полотенце, которое держит и расправляет парень в очках.

— Вы — Ася? — спросил, похожий теперь на матадора и хирурга одновременно, Павлуша. — Гуся — в вашу честь!

Парень в толстых очках сказал:

— Хорошо, что пришли, а то Рикардо обглодал тут меня.

Это, наверное, про мужчину заметно седеющего, с костистым лбом. Такие лица — резкие, даже чуть уродливые — нравятся Асие. Нет в них, по крайней мере, благополучия. На красавцев Асия не реагирует — она себя знает.

Мужчина смущенно поздоровался и принялся раздвигать стол. Дубовик взялся ему помогать.

Начало знакомства по-особенному интересно: так мастера шахмат любят, наверно, не тронутую еще доску, художники — совершенно чистое полотно. Фигуры послушно стоят, полотно белеет нетронуто — все в твоей власти.

Позвонил, вошел, заговорил Цыганков, и сразу стало шумно. Стали усаживаться за стол. Позже самой хозяйки из кухни прибежал муж-матадор, весело озабоченный своим гусем.

Снова позвонили.

— Сейчас узнаем, кто еще, кроме Пушкина, — поэт, — сказал Осип — парень в очках.

Асия сразу насторожилась, услышав в прихожей громкий мальчишеский голос. Что это, неужели чье-то присутствие может ей мешать? Какое ей дело? Но ей так не хочется, чтобы в эту далекую ей и, возможно, потому такую нетягостную компанию сейчас вошло знакомое, надоевшее.

Вбежал и сразу посмотрел на Асию. Будто они близко знакомы. Из тех тонкошеек, которые все упрощают, потому что ничего еще не

узнали. Эта вызывающая и даже веселая готовность упрощать была прежде и в ней. Но она — женщина, и ей труднее быть глупой долго.

Хорошая мальчишеская улыбка, с какой пацан появился, сразу сменилась неестественной, как только увидел девушку. Подошел прямо к Асие.

— Здравствуйте, девушка! Надеюсь, хоть вы не пишете стихов? Не надо, милая!

— Ты, конечно, пишешь? — как можно грубее ответила Асия. И больше не слушала, что он говорил. Его подтолкнули к стулу, посадили.

— Только что с самолета. Летали с Васей в район.

— Он еще в космической пыли, — Осип провел по его плечу и уважительно рассмотрел свой палец.

Пацан рассмеялся и сразу стал проще.

— Ладно вам. Зато научили одного типа бифштексы есть. Вася мастак на такие штучки. Приземлились мы, побежали перехватить. А на двери районной чайной: «Переучет». Ладно. Только видим через окно: сидит морда в белом костюме и лопает за троих. Показали ему кулак. Снова влезли в «кукурузник», а он уже там, губы не вытер. Все замочками на портфеле щелкает. Ладно. Висим на ветре, болтает, будь здоров!

Вася и взялся изображать. Будто это он съел бифштекс с яйцом...

— Без подробностей можно? — попросила хозяйка.

— Ладно. Вывернули соседа, как перчатку. И что жена дома подавала. А назавтра встретили его на улице. Вася снова изобразил...

Включили магнитофон. Равелевское «Болеро». Печально неторопливый и нарастающий ритм для Асии — знакомая горячая степь, сплавившаяся с белым от солнца небом. И караван вдали. Асия подалась навстречу зовущему и уводящему ритму каравана, вместе с ним вернулась назад. А в комнате уже бушует спор, к Асие прорываются лишь отдельные фразы.

— ...Помните? «Предвестьем льгот приходит гений и гнетом мстит за свой уход».

— ...Не надо пророчеств. Нужен строгий философский механизм, который способен обнаружить момент, когда общее начинает выражать лишь интересы частных лиц, групп, а вроде бы частное, особенное выражает интересы общие. И в литературе, между прочим...

— ...Надоела вся эта поэтическая акробатика. Вывернули риторическую телегу, ну так ставьте теперь ее на все четыре колеса, а не волоките.

— ...Да разве только в личности и ее качествах дело? Дай ангелу полную, неограниченную даже сроком власть, обнаружишь черта. Еще Плутарх сказал: «Полновластие делает явными глубоко скрытые пороки».

— ...А макарушкам только это и надо. Мы — чистоплюи, мы — творческие личности! Макарушка от должностей не отказывается, а потом вас, творческих, — вот так!

— ...Сегодня важнее понять, чем сделать.

— Черт вас всех дери! — заорал Цыганков. — У меня голова или чердачное помещение, куда тащат все, что в доме не помещается? Про вертолет еще не кричали. Давай! И высшей математики не было. Хоть бы песню спели, как в старые добрые времена, когда не были все мыслителями. «Возъедим, братия!» — вот достойный был клич!

Вдруг поднялся Дубовик. Соседи демонстративно убрали у него из-под рук все, что может разбиться. Тогда упал стул за спиной. Такой смешной этот Дубовик и громоздкий.

— Оставим высшую для Рикардо, — заговорил Дубовик, — и восславим элементарную: дважды два — четыре.

— Но зачем стулья ломать?

— Тебе, Цыган, мне, Каю кажется, что с единицы, с тебя, с меня начинается человечество. Другим — что с тысяч, миллионов.

— Ивану Васильевичу, гой еси!..

— Иванам Васильевичам всех времен и народов. Нет, с цифры два начинается счет. С того человека, что рядом, что далеко, что родится.

— С Евы.

— Что ж, и с Евы. Но и в более широком смысле. Коли нет простой, элементарной любви к человеку, что рядом, остается «атомная» любовь к человечеству.

— Следу человеческому радоваться будете... — подбрасывает Цыганков. — Возлюбим, братия!

— Нет, не просто возлюбим. А учтем человека. И его плюсы и его минусы. Социализм — это учет. Не забыл? Когда все учтено: экономика, классы, не забудь, Цыган, учесть личность, человеческую природу в ее развитии. Забудешь — преломится в этой самой личности прямая и вон куда выведет! В культ! Или еще что.

— Хочу танцевать. — Асие показалось, что она лишь подумала. Но нет', услышали.

— О! — обрадовался Рикардо. — Правильно. Вначале было дело!

Асия видела лица, глаза, улыбки, но ей ни до кого не было дела. Она танцевала для себя и самое себя. Только в танце любит она себя восточную.

В углу в большом зеркале видела свою высокую, с длинными и прямыми волосами голову, всю свою тонкую фиг.уру со сведенными лопатками, темноглазое лицо с доброй и глупо счастливой улыбкой и снова всю себя — длинноногую, с плоским животом, с загоревшими локтями.

Подошла, танцуя, к Дубовику, увидела его радостные и почему-то жалеющие глаза и приложила обе свои ладошки, ощутив их холод, к его лбу.

— У-у-у! Гудя-ят! Трансформаторы! Большие, глупые, конкретные...

Потом ехали в такси, и она вслух, раздельно зачемто читала неоновые огни: «Хра-ни-те...», «Ле-тай-те...»

— Как вам мои хлопцы? — спрашивает Дубовик.

— Мне плохо, Коля, очень...

— Вам плохо?

Испугался. Но не понял. Внезапное, почти детское, желание пожаловаться кому-то сильному, большому, ушло.

— Нет, уже ничего. Вот наш с Полиной дом. Спасибо.

— Так поедете со мной на партизанскую встречу? Это дней через десять. Если не отложат.

— Позвоните.

5

Большой лес кончился. Дорога перед «газиком» выпрямилась, можно и поговорить.

— У Бунина, — вспомнил Дубовик, все еще с напряжением держа руль и вполглаза следя за Асией, — сова сидит на рукаве ели.

На нее хочется смотреть. И ее глазами — вокруг. Из-за ее плеча все кажется чуть новым, вроде заново окрашенным. Даже здесь, в местах, которые и сейчас для Дубовика — партизанские.

Здесь всегда поражает самое простое: дорога, полуразобранный сарай в стороне от деревни, дикая яблоня среди поля, удивительно похожая на шахматного ферзя. И не потому, что так похожа на ферзя, а потому, что и тогда она стояла...

Нет здесь ни скальных троп Траяна, которые на Дунае видел Дубовик, ни развалин крепостных стен. О прошлом в этом лесном

крае говорит немногое, да и это не заметишь теперь, если сам не видел тогда.

Вслух подумал:

— Будь в России больше камня, а не дерева, история больше влияла бы на нас, учила...

— Смотрите, грабли, как антенны, — заметила Асия.

— Пусть на дорогу смотрит, — не смолчал Пахута, уже дремавший на заднем сиденье. — И не держись за руль, как утопающий за доску.

Остановились на поселках. Деревни тут сожжены были полностью. Новые застраивались наскоро, не богато, но все-таки из нового дерева. В садах молодых все.

Босоногая женщина, у которой Пахута попросил ведро, дожидается, пока он зальет в радиатор воду. Дубовик перехватил ведро, чтобы вернуть женщине полное. Она замахала руками:

— Что вы, я сама. И еще утопите.

Пахута, по-шоферски постучав своим председательским сапогом по колесу, спросил:

— Ну, тетка, будем узнавать своих или не будем?

— Ва-ася! Ну да, я и смотрю! Такой солидный стали.

Пахута махнул рукой, а Дубовик не упустил случая вернуть ему должок:

— На трудодни живет. Вся деревня у него такая.

— Хлопчики, вы в Костричник? Наши уже поехали, пошли. Ой, да у вас и места мало!

— Есть, только по-быстрому, тетка.

— Я скоренько, хлопчики. Поищу что на ноги.

Но не уходит — и уже слезы.

— Другие хоть могилки знают, а мой и господар и старшенький, бог ведает, чью земельку греют. Ой, я скоренько...

Побежала. Так ей непривычно, что и для нее что-то делают. А что она, такая вот тетка, делала для других, забыла она первая.

Любопытно, какой на этот раз будет встреча с командиром, с Колесовым. А бывало, даже возил Дубовика по «своему» району.

— Другие отряды за нашей спиной отсиживались, а сколько понаписано про них, и героев пополучали, — твердил Колесов.

Тогда они объехали с Колесовым почти все знакомые деревни. В землянках, у «Победы», на скамеечках, переживших и дома и самих хозяев, снова и снова начинались разговоры, припоминания разных партизанских историй. Дубовик, глядя на невесело шутивших знакомых ребят, испытывал стыд, что он вот приехал и уедет, а они

останутся, и с них будут спрашивать за все, не слушая их, не слыша. Как Колесов, который слышит только самого себя.

Когда заходил разговор о мирном житье-бытье, мужчины больше курили да усмехались, даже как-то виновато. Зато не молчали женщины.

— Муж любит жену здоровую, а брат — сестру богатую. Так и вы, начальство наше.

— Соседи в войну тихо сидели, их не сожгли, а теперь ласка всем одинаковая.

Заехали и в деревню, где Колесов жил в сорок первом. Подслеповатая старуха никак не хотела узнавать его.

— Много вас перебывало у меня, сынок.

— В кожанке я был, помнишь, бабка? С дедом твоим все спорили.

— Помер дед-то.

— Тот еще был дед! «Я вам, хлопчики, помогать буду, все, что надо делать, только дадите мне документ». — «Какой тебе, дед, документ?» — «А чтобы после войны паспорт городской мне дали».

Пустым своим голосом старуха сказала:

— Может, вас послушает председатель. Соломки мне, хату покрыть, коровку зимой кормила.

Дубовик очерк написал. Про сестру бедную, которую любить надо больше. Редактор послал не в набор, а Колесову. Дубовику очерков больше не заказывали. Пока в районе командовал Колесов.

Женщина снова появилась. В белой кофточке, с узелком.

— Как на фест, — говорит она, стесняясь себя, такой праздничной.

— Ну, а младший твой где? — спрашивает Пахута, втискиваясь за руль. — «Дядя партизан, а откуда взялась эта Германия?»

— Сам теперь служит в той Германии. Обыкновенные, говорит, люди. Все это война делает.

— Все из обыкновенных, — заметил Пахута, на большой скорости выводя «газик» из улицы на полевую дорогу. Удивительно рыжая, почти красная, собака, бежавшая навстречу, испуганно свернула в кукурузу.

— Ты тоже у дороги ее сеешь? — поинтересовался Дубовик.

— А то как же! Политическая культура. Все, тетка, из обыкновенных. Так, что ли, механизаторы человеческих душ? (До войны Пахута работал учителем, нетнет да и покажет это.) Видишь, тетка, не знают и они. Будем считать, что то нам приснилось.

— Еще как приснилось!

В Костричник приехали в самую жару. Людей очень много, не вмещаются в улице. Луг, разделенный дорогой, белеет рубахами, косынками, цветится платьями. Здесь стояло когда-то колхозное гумно.

В нем сгорели партизанские семьи.

Люди все прибывают, и сразу их поглощает подвижная, переливающаяся толпа. Те, что жадно и радостно ищут глазами друг друга, обнимаются, целуются, громко смеются — партизаны. Здесь они снова партизаны.

Дубовик и не заметил, как потерял Асию, смешался с толпой, жал кому-то руки, обнимал своих. Нашел ее у железной черной ограды, за которой — длинный, печально-праздничный ряд свежецементных могил.

Ограда была и тогда — из жердей. Ее удлиняли, когда привозили убитых поблизости партизан. И всякий раз жердочку прибивали. Всякий раз накрепко. Теперь железо замкнуло цементный ряд могил. Черные фамилии на влажном цементе не читаются, а будто вспыхивают в памяти. Многих Дубовик уже не застал, придя в отряд, но так наслышан про них, что будто сам помнит вот этого Ефимова, веселого и такого сильного («Станкач на руках бегом на шоссе вынес!»), будто знал Митю Богана, убитого на глазах у матери, и вот этого Носкова, недружелюбно насмешливого и недоверчивого, которого зарезали власовцы, когда он однажды поверил, что они и впрямь хотят перейти к партизанам. А это — два Пети, как в той песне, которую они всегда напевали. Неразлучные и после смерти, веселые разведчики. И Надя Пархимчик. Неужели эти темноволосые полнеющие женщины — те самые ее девочки, которым хлопцы все говорили, что мама занята, не может прийти, а вот прислала муку, соль...

А этих Дубовик хорошо знал и сам: Царский, Железня.

Именно здесь чернело бы «Николай Дубовик», но пуля только обожгла висок, а вторая прошла ниже, внезапный удар ее Дубовик носит под коленом вот уже двадцать лет. Все, что было за минуту до того, не стирается из памяти, а врезается с каждым годом глубже, как веревка от тяжелой ноши. Картинно широкоплечий и высокий командир роты Царский свободно и весело ступает со шпалы на шпалу, а рядом идет Железня, которому приходится ставить ногу то на шпалу, то между. Уже полчаса группа идет по заброшенному железнодорожному полотну, высоко поднятому над замерзшим, в кочках и кривых сосенках болотом, а Царский все не устает радоваться, что идет по твердым шпалам, а его соседу, хмурому Железне, приходится то в снег, то на шпалу ступать. Но и Царский нет-нет да и посмотрит вслед двум партизанам, уходящим к

заброшенному кладбищу: очень удобное место, если бы немцы шли здесь, а группа сидела там в засаде.

Оттуда и ударили через две минуты...

Две колонки имен сверху вниз на влажном цементе: «Женя Коваленок», «Ирочка Шардыко», «Шардыко Степанида Федоровна»... Партизанские семьи.

За оградой стоят, сидят на корточках женщины, девочки. Дальние тети и племянницы тех, так и оставшихся навсегда трехлетними, Ирочек.

За оградой, возле плит, — тихо, а кругом — шум, голоса.

— Хлопчики, — кричит белорубахий, подозрительно румяный старик, — не узнаете того? Полицай выпущенный.

Прихрамывающий дядька с очень обыкновенными, но уже чужими и уже испуганными глазами, кажется, первый услышал старика.

— Эй, Пётра! — старик подзывает милиционера.

— Ну, что тут? — Милиционеру, затянутому в синее пыльное сукно, жарко. Голос у него скучный, на боку — пустая, вмятая кобура. — Уже хватил, дед?

— Не узнаешь, Пётра, своего крестника? — Старик подошел к хромому дядьке, бывшему полицаю, и ткнул в него пальцем, как в неживую фотографию. — От тебя этот захромал! Помнишь? Во там, каля леса!

— Куда я тебя? — уже с некоторым интересом спрашивает Пётра.

— Во! — полицай заулыбался, тверже стал на одну ногу, показывая, что вторая короче. — Не гнется, падла!

И показал радостно: действительно не гнется.

— Ловко ты тогда, — похваливает партизана полицай.

— Ты скажи, сколько еще! — требует старик.

— Троих наповал. А меня и еще — во.

— Чуешь, Пётра, — как глухому, кричит старик.

— Отстань, дед.

— Тоже выпустили? — спрашивает полицая парень с красной, как обожженной, шеей. Он в заношенной черной гимнастерке, а ордена новенькие, как из коробочки. — Амнистировали?

— А что, а что, — занервничал полицай, — культ...

— Культ — это не про вас, — говорит по-мальчишески щуплый и бледный парень в желтой тенниске. На лбу у него — уходящая под седые волосы темная вмятина. Глаза невыносимо горящие. Что-то очень знакомое почудилось Дубовику в нем...

— Шагай дальше, — на всякий случай посоветовал полицаю Романович, которого Дубовик особенно рад здесь видеть.

Романович тут выше всех, даже Дубовика, и голос у него с угрожающим раскатцем.

— Ну, ну, потише, — предупредил Пётра, — кончай!

Романович вдруг схватил седого парня за плечи и закричал:

— Сережа! Хлопцы, да вы не видите — Коренной!

Да, и эта щуплость, и горящий напряженный взгляд, и оставшаяся рыжеватость (как подпалины) — все это так знакомо. Но разве можно было ожидать? Все говорили, что умер в военном госпитале после того странного, непонятного ранения.

Коренной, освобождаясь от объятий, спрашивает про Анну Михайловну. И всем понятно, почему про нее.

— Прошлый раз была. С сыном.

— С Толей?

— Нет, старший. Толя не вернулся, когда ходили к фронту.

Дубовик подошел к Асие. Она с бутылкой лимонада стоит в тени машины, а возле нее уже трое ребят в заломленных кверху кепках.

— Знакомьтесь, — сказала Асия Дубовику, — мои новые друзья.

— Еще бутылку? — самоотверженно и свирепо спросил высокий худой парень.

— Хватит. — Асия показала, что у нее еще есть полбутылки. Но ребята уже дружно врезались в толпу, плотно окружившую машину с ящиками.

— Вот тот седой почти двадцать лет не выходил из госпиталя, — сказал Дубовик. — Для него война все не кончалась.

— А для вас? Мне кажется — тоже.

— Ого, еще как помню тот день! Когда кончилось все и словно сама жизнь на земле заново начиналась. Такую радость, одну на всех, испытать — это навсегда.

— Вы меня пожалели?

— Ну, что вы, Ася, вам позавидовать можно. Но я действительно подумал... Вы узнали общую горечь и недоумение, а радость, такая же общая, обошла вас.

— Этим мы и отличаемся?

— Возможно. И еще тем, что у вас все впереди.

— Фу, старческие разговоры! И не улыбайтесь всегда, а то я не понимаю, когда в вас что. Пойдемте ближе.

Потом она сказала:

— У вашего Коренного хорошие глаза. Умные страданием.

— Сережа — типичный российский правдолюб. Из тех, что хоть кол теши. Теперь таких больше, но тогда они заметнее были. И трагичнее, что ли.

— А себя вы каким помните?

— Лучше не спрашивайте. Вот если приедет Анна Михайловна, я вам ее покажу. С младшим ее, с Толей, стоим, бывало, на посту и стишки друг другу читаем. Меня просто распирало от сознания, что другие — обыкновенные, а я — поэт. Порой казалось, что эти другие для того только и есть, чтобы я о них написал. Соединялись со своей армией мы трудно. Пол-отряда погибло в бою с фронтовыми немцами. Партизаны, которые уцелели, но не прорвались к армии, долго потом возвращались в свой лес: по одному, группами, обмороженные, раненные. Анна Михайловна лечила и все ждала, что хоть что-то узнает о сыновьях. Она могла еще надеяться, что перешли фронт, что в армии, пока один болван не «пожалел» ее. Одурел, наверное, от внезапного тепла и сытости, от счастья, что жив. Сказал, что видел обоих. Видел, как танк утюжил их окоп. Узнали мы в санчасти, как упала она. А вечером прибежала медсестра и предупредила, что идет к нам. Заволновались раненые, не зная, как себя вести. Кажется, единственный, кто обрадовался, что увижу ее, был я. Я ведь поэт и должен посмотреть, какое лицо бывает у матери, у которой и т. д. А когда увидел, разорвал свою паршивую тетрадку. И никогда ни строчка не написал о том, что увидел. Если и напишу когда, то лишь про то, какая это подлость вот так подсматривать за жизнью...

Говорили речи с кузова и много называли имен тех, кто похоронен где-то в Польше, Югославии, Германии...

Потом один оратор долго радовался и огорчался по поводу плана мясо-молокосдачи.

— Господи, — сказала с упреком Асия, — никак без дураков не обойдетесь.

Заиграл военный оркестр. Все еще молодой комбриг неумело сдергивал покрывало. Наконец упало белое полотно: глазам открылась окаменевшая женщина, припавшая на колено. Нет, слава богу, черная, а не под золото... Дубовик увидел Анну Михайловну и тетю Пашу, стоящих там, где похоронен Митя «Пашин». Не мог не подумать, что все-таки у скорбящей матери не такие плечи, как у этой с каменным венком...

— Я больше не могу, — тихо пожаловалась Асия и стала выбираться из толпы.

— Старика видели? — спросила, когда отошли и стали в сторонке. — За оградой там. Лицо кверху, как у слепого, а пальцы

ищут по плите. Мне показалось, что он тоже оттуда. Что свое имя хочет найти. Или стереть.

В затемненно-синих глазах девушки боль такая давняя, совсем как у Сергея Коренного. Но ведь он через такое прошел! А ты чье в себе носишь?

Уже перебрались — люди, машины — в сосновый бор, к речушке. И сразу стало заметно, что для одних — это обычный праздник с толчеей у ящиков с водой и пивом, с купанием, с незамысловатыми аттракционами — кто ловчее долезет по гладкому столбу до бутылки с вишневкой, а для других — это неожиданное возвращение к тому в себе, что, оказывается, главное. Не вообще, а в твоей жизни — главное.

Кто-то предложил ехать в бывший лагерь. И сразу все обрадовались. «Газики», грузовые машины, «Москвичи» поползли среди гуляющих, выбрались на полевую дорогу и понеслись, волоча друг друга в длинных хвостах желтой пыли. Простучали под колесами бревнышки высохшей гати.

В лесу спустя двадцать лет былое узнать нелегко. Старые партизанские сосны легли в стены отстроенных деревень. Молодняк поднялся, дороги по-иному легли. Но увидели двупалый дуб, высоко поднявший и держащий колоды-ульи, и сразу стали узнавать. Дуб был недалеко от лагеря. Да, да, тут картошку закапывали. А помните, как полезли хлопцы «пчелок привязать», сняли крышки, а в ульях — белья военного на два взвода! Припрятал дядька запасливый.

Шли по лесу и все спорили, там ли идут, пока не набрели на продолговатую глубокую траншею от партизанской землянки, — конечно, здесь! Березки, осинки поднялись со дна в три человеческих роста — они здесь росли, пока ты жил где-то... Это — первый взвод, значит, там — третий. А через дорогу — первая рота. Нашли вросшую в землю дубовую колоду, с железной скобой — здесь была оружейная мастерская, а в этой яме тол из снарядов выплавляли. Как за клямку двери, подержались за скобу на колоде...

Интересно, какой была бы Асия тогда, здесь? Ее очень трудно представить иной, не такой, какая она теперь.

Решено ночевку устроить на месте бывшего лагеря. Загудели машины, отыскивая и обновляя старую дорогу. Оказывается, недалеко — заповедник, зубры.

Но кто-то «стол» готовить должен.

— Кому зубры, зато нам «Зубровка», — сказала неулыбчивая тетя Паша.

По дороге пришли к забору. Столбы дубовые, жерди — не жерди, а настоящие бревна. Сразу представилось, какие сильные и большие должны быть хозяева этого леса. Но зубров не видно. Одни косули. Стоят тоненькие и смотрят, как любопытные дети.

И на них смотрят, рассуждают:

— Они совсем не боятся людей.

— Уверены, что это ты — за оградой.

Зубров заметили не сразу, так спокойно, неподвижно стояли они, каждый под своим деревом. И правда, кажется, что у каждого свое место, и потому самый большой стоит под самым толстым дубом. Вдруг большой зубр сдвинулся и неожиданно легко, все ускоряя шаг, пошел к ограде.

— У-у, — обрадовалась Асия, — загривок, как у льва.

Встала на нижнюю жердь, перевесилась навстречу зубру. А он остановился, застыл, будто и не шел только что, будто никогда уже не сдвинется с места.

— Эти коровки бодаются, — предупредил партизан в черной гимнастерке.

— Львы, ставшие коровками, — говорит Асия.

Что-то тысячелетнее в этих зубрах. Кажется, пришли из своего времени, а здесь все чужое: соседи, деревья, само небо. В глазах тяжелая и беспомощная угрюмость.

Дубовик не успел, он только бросился к Асие, а сорвал девушку с ограды партизан в черной гимнастерке. Рога зубра тупо ударили в толстую жердь. Глаза сразу налились кровью, но все такие же печальные.

Асия страшно обрадовалась. Нетерпеливо освободив тонкие плечи от ладоней Дубовика, которому передали девушку, снова приблизилась к ограде.

— Так ты еще помнишь, бедная коровка? — радуется девушка.

— Смешная она у тебя, — сказали Дубовику. И поинтересовались: — Не трудно пасти такую?

Понемногу уходили — кто вперед, кто назад к машинам, — а девушка все стояла против «своего» зубра. Дубовик следил за обоими.

Внезапно погрустнев — на глаза будто тень упала, — Асия сказала:

— Зачем их заставляют жить?

— Можно не отвечать?

— Можно. Потому что у вас на все есть ответы.

Пошли вдоль ограды. Издали она помахала «своему» зубру.

...Черт, какие тяжелые стали руки, когда отпустил ее плечи. Еще и теперь тяжелые.

Асия идет впереди, сквозь пальцы пропуская веточки.

Как-то на улице Дубовик заметил девушку с такой же походкой, как у Асии, и сказал, что здорово у них получается: тряпка, а будто тяжелым золотом расшита.

— Движение матадора, — усмехнулась Асия. — Знаменитая вероника. Прямо перед мордой быка.

И повернулась перед Дубовиком, показывая.

— Спасибо.

— Нет, вы, Коля, — медведь. Аю, как называют медведя на Алтае.

— На Алтае?

— А откуда мои скулы? Бабкины.

Они у Асии очень заметные, хоть линии ее лица и негрубые. А при улыбке вспыхивают на щеках ямочки, совсем детские.

Дубовик давно замечает, что стоит Асие поймать задержавшийся его взгляд, как она сразу словно пародировать себя начинает, движения, походку. Будто с желанием разрушить, сделать смешным то мужское, что она, наверно, улавливает в его взгляде.

«Стол» уже накрыт. Кто-то, не новичок в таком деле, прихватил с собой поленце обоев и растянул по траве. Получилась аппетитная белая дорожка, сплошь заваленная огурцами, ломтями хлеба, буфетной колбасой и крупно нарезанным домашним салом. Группками, как кегли, высятся бутылки.

— Поп-искусство, — засмеялась Асия.

Уже тосты говорят, Дубовик поискал глазами местечко и присел, вернее, прилег к «столу», усадив Асию рядом. И сразу возле них появились два доверху налитые белые стакана.

— Войди, дух партизана! — пожелал Асие Романович, чокаясь и одобряюще глядя на Дубовика. Потрогал Дубовика за плечо и очень серьезно сообщил Асие:

— Наш пацан.

Пацаном называл, когда ходили вместе на «железку». Наверно, тоже помнит в эту минуту, как лежали под черной насыпью, закрывающей полнеба, жались к пахнущему дымом и мазутом песку и вслушивались в шуршащие шаги приближавшихся патрульных. Вот уже немцы рядом, вот над головой, тихо переговариваются. И вдруг внезапная — как взрыв! — тишина. Остановились. Кто-то скатился по щебенке за насыпь. И тотчас тонкий кабель рванулся из потных холодных ладоней Дубовика, обжег. Уже потом поняли, что немцы

заметили наскоро присыпанный землей ящик и, наверно, шнур. Конечно, им сразу представилось, что партизан смотрит на них из ночи, что сейчас взорвет мину.

Один немец скатился за насыпь, а который был по эту сторону, схватил шнур и стал тянуть к себе. Немец к себе, а Дубовик к себе, молча (а казалось — кричат!) тянули провод. Немец перетягивал мальчишку. И тут провод ослаб: впереди его перехватил Романович. С тех пор он недослышит и потому не разговаривает, а кричит.

— Наш пацан!

Асия даже ухо прикрыла. И смеется. Романович ей нравится. Дубовик благодарен ей за это.

Рядом с такими, как Романович, хорошо помнить, что и ты — партизан. Не в любой компании, не всегда так бывает. Как-то присутствовал на встрече историков с группой бывших партизан, так там этой радости не испытал. Была обида, недоумение. Неужто и в самом деле даже местную славу (кто какой столб спилил) надо делить и нельзя поделить без удивительной непонятной вражды к бывшему товарищу — командиру соседнего отряда?..

Сквозь смех, беспорядочные выкрики пробивается общий разговор:

— Не все приехали и на этот раз.

— Не все знали. И не каждый может.

— Не мо-ожет! А когда-то думалось: жив останусь — на брюхе приползу.

— Мало ли, когда-то.

— Живешь, будто воды по бороду.

— Где-то Мохарь наш теперь?

— Соскучился по Мохарю?

— Ну, этот не явится. Гумно с детишками — забыл, думаешь? Другие отряды, как открылись «ворота», сразу — семьи на фронт. А наш все списки уточнял, пока не...

— К черту, хороших хлопцев давай помянем! — кричит Романович. Чокаются, пьют, но разговор возвращается к прежнему.

Сергей Коренной не пьет. Сидит, прислонившись к стволу березы. Его нестерпимо блестящие глаза, кажется, живут отдельно от лица, очень обыкновенного, даже в добрых, простых веснушках, только неестественно бледного.

— Сережа, а почему тебя Мохарь не любил? — добивается парень с наивными и добрыми глазами, который всем подливает, со всеми чокается.

— Знал почему. Иду по замерзшему болоту, сзади бой гремит. Руку мне перевязали, несу. Вижу: Мохарь на стежке, что к лагерю. Будто дожидается. Усмехается: «Убегаешь, если не ошибаюсь?» Я молчу.

«Значит, считаете, товарищ Коренной, что надо засорять Родину непроверенными? Так и запишем». Запишем, говорю, и мы. И опять припомнил ему гумно с детишками. Аж побелел. Отступил в снег, проходи, мол. Автомат у меня под здоровой рукой...

— Ну и надо было! — кричит Романович.

— Когда последний раз лежал в госпитале, так и делал. В бреду. И не раз. А раньше все представлялось, что ухожу, что упало, ямка... Он бросил гранату.

— Не надо, пожалуйста, — тихо попросила Асия.

Коренной удивленно глянул на нее. И улыбнулся благодарно.

— И правда, лучше о другом расскажу. Когда совсем вернулось сознание, я вроде позабыл все, спрашиваю у врача: «Берлин взяли уже?» Мне газеты подают, а там про Корею, американцы, но какие-то не те. Показывают дату: пятидесятый год...

Асия смотрит на Коренного пристально, будто узнает. Дубовик вложил ей в руку бутерброд, потому что она по обыкновению ничего не ест. Как на пустое место, глянула на Дубовика, поднялась и ушла. Стала над Коренным, опершись рукой о дерево, ждет чего-то. Сергей тоже поднялся. Тогда она села, и он сел рядом. Радостно смотрит на Дубовика, будто он послал Асию. Дубовик поднял стакан и показал, что чокается с ним.

Заставил себя подняться и ушел в другой конец «стола». Издали он видел, как Асия взяла руку Коренного, рассматривает ладонь. К ней еще руки протянули, как к цыганке, но она не видит их. Дубовик знает, как это серьезно, когда у нее такое вот лицо, улыбающееся всем и никому...

Старался больше не смотреть. Но все время помнил, что не смотрит.

Уже костры зажигать стали. Сразу два. Волнует знакомый запах дыма. Голоса притихли. Собрались в песню. Отблески костров играют на стволах деревьев, ползут к вершинам. Березы да сосны — партизанские сестры...

Постой, ничего же не случилось! Она ушла, ты отошел, потом вернулся, но она не видит тебя. Она никого не замечает. Сидит на плаще Коренного и водит прутиком по язычкам пламени, словно поглаживает. Лицо некрасиво затвердело, под девичьими чертами проступает что-то очень древнее: такие скулы и прямые волосы,

наверное, были у ее бабки. Дубовик даже облегчение почувствовал и радость, увидев, какая она некрасивая. Он снова и снова подходил к костру, у которого Асия, чтобы испытать это чувство освобождения. Коренной отодвигался, уступая место между собой и девушкой, но кто-нибудь отзывал Дубовика, и он уходил, довольный, легкий. Но потом снова что-то заставляло возвращаться. Нет, хорошо, что она такая некрасивая! Просто счастье!

Дубовик беззвучно смеялся, издевался над собой, ненавидел себя за этот нервный внутренний смех. Ведь ты этого хотел: чтобы ей понравились твои партизаны, хотел поразить ее миром, из которого вышел, в котором живешь! Ну вот и поразил, что ж не радуешься? Или тебе надо было не свой мир ей показать, а себя в нем, только себя? Она нашла и в твоем мире свое, лишь свое, и вы снова врозь, и ты лишь проводник для нее в своем мире и любопытный соглядатай в ее мире. Или тебя уже не устраивает? Почему же, ведь так интересно наблюдать ее, всего лишь наблюдать!..

Дубовик подошел и сообщил, что, видно, соберется дождь. Коренной поспешно согласился, что да, будет и надо, пожалуй, уезжать. Асия недовольно, из какогото своего далека, глянула на Дубовика. Коренной поднялся:

— Схожу дровишек...

Асия встала и пошла следом, в темноту.

Вернулись. Сергей несет в обеих руках корягу, стараясь не испачкать светлую тенниску. У Асии — ветка ежевики, на которой темными каплями поблескивают ягоды. Она очень довольна этой красотой. Подошла:

— Так хорошо, что уговорили меня ехать.

Поднесла ветку к лицу и ласково стала ловить ягоды ртом.

Снова был «стол», снова тосты, песни. Асия была рядом, но лишь потому, что Коренной старается садиться поближе к Дубовику.

...Проснулся Дубовик от холода, с острым чувством какой-то утраты. Долго не мог понять, что гудит: машины или в голове. Нет, машины еще не заводят. Мелко моросит дождь: кажется, что сам воздух шелестит. Кто-то накрыл Дубовика брезентом: прямо на груди, на животе тяжелые холодные лужицы дождевой воды, и в них плавает иглица, листья. На фоне смутно зеленеющих сосен стоит над ним Асия в прозрачночерной накидке. Отогнув край мокрого брезента, села на еловый лапник.

— Ты много пил, я видела.

Как бы отвечая на его молчание, сказала:

— Ушел пешком, один.

В руке у нее вчерашняя ветка ежевики. Проводит ею по губам, словно отыскивая еще что-то.

— Вытри, пожалуйста, глаза.

Послушно вытерла. Отвела свои прямые, тяжелые от утренней влаги волосы.

— Зачем ты отпустила его одного?

— ...Он такой нездешний, весь в своем мире.

— Бред. И не надо было ему уходить.

— ...Все спят, только мы сидим, даже угли засыпают, моргают.

Засмеялась:

— Не поверил, глупый, что я тебе — никто.

Глянула и сказала:

— Прости, пожалуйста. Я обидела тебя? Ну, прости. Ведь ты такой сильный, земной.

— Ты влюбилась?

— Он совсем, совсем один. Из какого-то своего мира. Как те зубры. Это мне так понятно. Прости, я тебе сделала больно?

— Пустяки, я же земной. И еще какой там?

— Всегда печальная складка у тебя над глазами. Хоть и улыбаешься.

— А я и теперь улыбаюсь? Значит, и правда — дуб.

Они не замечали, что разговаривают на «ты».

6

На этот раз Дубовик приехал на озеро без палатки. Купил двухнедельную путевку в пансионат. Поработать надо. И, пожалуй, отдохнуть. После больницы сердце стало ныть всерьез. И главное — разучился спать. Ночь — будто черная шахта, из которой среди непрерывного грохота пробиваешься к свету, к тишине...

А тут совсем неплохо. За стеклянной дверью балкона — уходящая к горизонту гладь озера, похожая на потемневшее зеркало. Столик для газет и графина. На нем можно и писать. Маняще белеют уже разложенные стопки бумаги. Строчка на белом листе — и ты уже не волен, уже привязан. Отвел глаза («Пойду пройдусь, утро какое!»), но взгляд снова вернулся к бумаге. А, тебе нужен кусок! С таким чувством, будто в комнате есть кто-то еще, наклонился и написал о ком-то, еще не зная, кто это будет:

«...Ощутив боль слева, он понял, что она есть потому, что была всегда...»

Вот и эта боль легла в строчку. Раз все равно она есть, считай, что кстати: иначе не пришла бы на ум строчка.

Вот так Дед относился последнее время к своей судьбе: раз уж случилось, главное — все сказать.

Где сейчас Асия? Даже странно, совсем недавно мир тоже казался полным, хотя не знал, что есть она.

Как неожиданно подействовало на нее знакомство с Коренным! Ведь такие разные: Коренной — весь в воспоминаниях, для нее же, кажется, имеет цену лишь сиюминутное. Но, значит, плохо ты ее узнал. Общего у них, пожалуй, больше, чем у тебя с ней: Асия не умеет, а Коренному болезнь, снова и снова отбрасывающая его назад, мешает пропускать жизнь сквозь себя, как спускают суда по шлюзам. Все несется потоком. Все, что скопилось в жизни, будто дожидается одной какой-то минуты.

Выбитая отдыхающими тропинка уводит в бор, всползающий на холмы. Потом, будто не выдержав, тропинка сбегает к воде, к простору, к утреннему солнцу. Прошла внизу лодка, березы в воде бело изогнулись, заволновались и долго не могут успокоиться. Гладь озера незаметно сливается с небом, на котором единственное, похожее на айсберг, облачко.

Никак не привыкнешь к чайкам, появившимся здесь недавно, к их жалобно лающим крикам.

Дубовик вдруг вспомнил, как забавно сердится на него Асия: «логик!», «конкретный человек!», а он охотно подыгрывает ей, нарочно огрубляя свои суждения. Но не права ли она в чем-то большем и больше, чем ему хотелось бы? Вон ведь с каким усилием освобождает он себя, свою мысль от пыльного налета привычности. У Асии это получается само собой, взгляд на мир у нее изначально талантлив, как у ребенка. И это — странно! — при всей ее залитературенности. И, как для ребенка, для нее вроде бы существует лишь сиюминутное, хотя немало она и пожила и пережила. Но в сиюминутном важно для нее лишь то, в чем, как ей кажется, обнаруживает себя вечность, сама тайна жизни. Взгляд ее обращен лишь внутрь и лишь сквозь себя, сквозь тайны собственной души — на все остальное. Она не понимает, как может Дубовика всерьез занимать все то, что так легко показало и показывает свою преходящесть. Разные там макарушки и связанное с ними...

А Дубовика с самого начала заинтересовало: на чем держится ее удивительная независимость, ее отстраненность, ее категоричность, порой забавная категоричность, а иногда раздражающая? Показалось, хотелось поверить, что в таких, как она, заключена хорошая, новая стойкость перед всем, что затаили в себе макарушки. И Дубовик очень охотно пошел навстречу и этой симпатичной

независимости, и этой раздражающей категоричности. И навстречу той женской необычности, которая так поразила.

Их разговоры, их споры первое время шли по двум руслам, в зависимости от того, кто начинал. Если начинал Дубовик, тогда звучало: «Грай этот ваш!», «Эта ваша конкретная социология!», «Как для вас все это важно!»

— От того, Ася, что для вас «наши» макарушки просто не существуют, они не перестают существовать.

— Надо жить на разных с ними орбитах. А эти ваши речи, статьи, страшные рассказы? Какой прок?

— Хоть не молчать учимся.

— Только-то?

— Чтобы, если надо, не молчать.

— Ждете, когда Макарушка начнет действовать, чтобы снова потом говорить?

— Раньше надо понять. Хотя бы главное. Потому сегодня понять — это уже делать.

— А макарушки от своих противников очищаются тоже морально? — И не дождавшись ответа: — А если стараться понять, так в чувствах — больше истины. Природа, по крайней мере, не умеет лгать, лицемерить, трусить, предавать. Вы, мужики, сколько угодно можете друг перед другом говорить ваши слова и выглядеть вполне прилично. Потому что не видите себя с той стороны, с какой мы вас видим. Мой бывший директор института, наверно, и сейчас такой же таинственно величавый. И говорит те же слова. А как он предложил мне работать в «его» институте, «несмотря на отчисление из аспирантуры» — никто не знает, кроме меня. Как при этом поинтересовался (когда я поблагодарила его), не хочу ли съездить за город. Погода, мол, подходящая... Ну, я его тут же по-другому поблагодарила. Признаюсь, даже обрадовалась этой возможности, помня, как неделю назад они поучали меня.

Когда тему вела Асия, это был чаще всего разговор о том, что происходило, что происходит в жизни с нею как женщиной. Дубовик трудно привыкал, да так до конца и не свыкся с ее не то циничной, не то детской откровенностью.

И чем более откровенна Асия, тем менее понятна. Все рассказывает, абсолютно все: как выходила замуж, от кого к кому уходила и что при этом чувствовала. Вначале это ошарашивало Дубовика. Но она так серьезно, так тревожно ждала, чтобы он объяснил, что с ней было и что в ней происходит. И он невольно

поддавался этой простоте и вместе с нею начинал разгадывать ее, будто кого-то третьего.

Так было и после партизанской встречи, когда ехали в поезде. Вагон был полупустой, встречный дождь косо чертил по стеклам, день казался вечером. Асия сидела напротив. И рассказывала. Дубовик вдруг подумал, что это похоже на сцену в больнице: врач, а перед ним больной, но из тех, что слишком сживаются со своей хворостью, так что врач им нужен уже не как исцелитель, а как грамотный слушатель. Дубовик сказал про это Асие. Она, засмеявшись, согласилась, что да, может быть, и похоже. Но и на этот раз он увидел, что ее откровенность уже не кажется ему трогательным доверием. Ну хоть бы раз соврала в свою пользу или хотя бы умолчала о чем-нибудь! Значит, ей настолько все безразлично...

А потом была у него в гостях, и снова эта проклятая откровенность. Сидела за столом, курила, пила кофе и была дальше от него, чем когда-либо. Только за порогом с каким-то радостным облегчением заулыбалась. И даже сказала, что будет приезжать на озеро («Совсем загар свой растеряла»), если удастся вырваться днем с киностудии.

Такой тяжестью налиты кисти рук, когда она рядом, такого труда стоит — все мысли на это уходят — не по зволить им коснуться ее волос, детского овала скул.

Возвращаясь к себе в корпус, Дубовик смотрел туда, где из автобуса выходила новая партия приехавших. Подумал, что вот так же просто может появиться она, будет идти, не видя его, а он ее увидит...

— Коля!

Сидит на скамейке, рядом черный чемоданчик.

— Я уже час, как приехала. Не хотелось искать. Села и сижу. Работал?

— Нет.

— Считай, что и вовсе пропал день. До вечера не уеду.

Обедали в стеклянном, с наклоненными над водой прозрачными стенами, ресторане. За соседним столиком — трое молоденьких девушек. На четвертом стуле, занятом для той, что выстаивает в очереди, красная сумка с теннисными ракетками. Ждут, когда подойдет их очередь, и очень обстоятельно обсуждают хамство какого-то Севы, который вчера ел-пил за их счет.

— Выцарапаю у него этот рубль. А почему должны ему дарить?

Сева этот, наверное, вроде тех парней, которых Дубовик однажды с удивлением рассматривал, стоя у телефона-автомата.

Один из них разговаривал, видимо, с девушкой, а двое слушали, переглядываясь с ним:

— Приехала уже? Скучал, а как же. (Закрылся спиной от друзей.) Да, да„. Хорошо загорела? Ну, выходи. И Гена с Вячеком здесь. Привет передают... Захвати три рубля. Ждем.

Самое неожиданное можно услышать от этих парней. Но такое («Захвати три рубля») уж и совсем что-то новое. Об этом Дубовик при случае рассказал Асие. Ее удивило его удивление:

— А когда-либо было по-другому? Пусть уж лучше все подсчитано.

Но тут же добавила:

— И все равно — противно.

Пошли вдоль берега. Заметно, что нравится ей здесь. Дубовик так вопросительно смотрел ей в лицо, что она сказала:

— Ты так гордишься, будто сам создал это, включая и небо.

Сняла босоножки и шла осторожно, будто крадучись, но где глаже, неколко — прихлопывала всей ступней. Сегодня она в блекло-цветастом платье, очень свободном.

— Покажу я тебе одну рощицу, — небрежно, как о лучшем своем творении, говорит Дубовик.

А Асия остановилась, посмотрела на озеро.

— Далеко, — сказала тихо.

— Хочешь назад переплыть?

Она зябко повела плечами.

Со своим чемоданчиком ушла в будку-раздевалку.

Дубовик быстро разделся и вошел в воду. Проплыл немного, вернулся. Асия уже сходит к воде. В черном купальнике она кажется высокой, тело, все линии какие-то льющиеся. Постояла над водой, тронула ее ногой.

— Вот так феми-ина! — раздался голос. Дубовик глянул на купающихся парней, готовый что-то делать. И сам усмехнулся.

Асия поплыла, не глядя ни на кого, с доброй, счастливой улыбкой на лице. Стала вертеться: плывет и вертится по-дельфиньи. И все улыбается.

Когда вышли на песок, Дубовик постарался побыстрее сесть: колено казалось уродливым, как в тот день, когда впервые сняли повязку.

Асия села рядом, прямо вытянув загоревшие ноги.

Сам не зная почему, Дубовик вдруг сказал:

— Помнишь, на Кон-Тики? Ученый поймал рыбу. Небывалую. Быстренько швырнул назад в воду: ♦Нет, такой не бывает!»

— Надеюсь, ты так не поступил бы?

Неожиданно коснулась прохладными кончиками пальцев рубца на его боку.

— Это тот подонок? — И как-то сразу: — Ты хорошо сложен, Коля. Но одеваться вы не умеете. Этот костюм!

— Одна девушка мне убежденно доказывала, что канадская прическа — тот абсолютный идеал, к которому волосатое человечество пришло навсегда.

— А ты мог бы видеть меня не обобщенно? Логик несчастный!

Потом шли к березовой роще. Предвечерняя тишина устанавливалась в лесу. И, хотя птицы все еще не умолкают, слушаешь не их, как бывает рано утром, а то, что за ними, — наступающую тишину.

Хвойный лес кончается. Под ногами мягкая трава, и уже не березы среди елей белеют, а сосны и ели темнеют среди берез. Будто наново разгорается день.

Березы, березы, одна возле одной, по три, даже по четыре из одного корня, неровные, нестройные, даже корявые, но прекрасные, когда они вместе. И когда зачернеет среди них случайная ель, еще заметнее, как бело, чисто, светло.

Шли сквозь березовую стену навстречу разгорающемуся березовому свету, и хотелось, чтобы не кончался он. Но он внезапно кончился, уперся в черную стену елей, вовремя кончился, так и не став привычным.

На всякий случай Дубовик спросил:

— Пойдем назад? Еще раз.

— Нет, пусть так останется.

За деревьями мерцают огни. Дубовик предложил разжечь костер:

— Как-никак побывали в партизанах.

Но Асия не захотела. Она стала какой-то скованной и будто встревоженной. Уже в третий раз спрашивает, когда уходит последний автобус.

К чужому костру всегда идешь со стесненным чувством, как в незнакомый дом: это, наверно, с тех времен, когда костер и был домом.

Молодые голоса пробуют петь «Последний троллейбус», но смех, крики забивают песню.

Два десятка любопытных, веселых, задумчивых, ушедших в песню глаз встретили Дубовика и Асию. Асия села на траву, а Дубовик тут же отправился за дровами вместе с сутулым пареньком, в котором

учуял родственную душу: сразу видно, влюблен в костер и готов всю ночь служить ему. Следом за ними, подбадриваемые насмешливыми девичьими голосами, потянулись еще несколько парней, трещат еловыми сучками. Дубовик и симпатичный молчун взялись выбивать каблуками, выворачивать пеньки. Позвали ленивцев — помочь нести.

Пошли к костру, который теперь и твой. Издали увидел глаза Асии.

Разговор у костра неторопливый и с внезапными всплесками веселья: кого-то вдруг толкнут, выхватят из рук палочку с колбасным шашлыком. И снова про кинофильм, свитер, завтрашний рабочий день, про то, что скоро в школу. Ребята строят новый корпус, тот, что в самом лесу. Девчата в ресторане работают. На целую войну Дубовик старше их всех. Но в чем-то они старше.

Начался спор о телепатии, о том, что некоторые видят с завязанными глазами: различают цвета, даже читают.

Асия ни в чем не участвует. Огонь действует на нее завораживающе. И она будто старше всех здесь. И Дубовика.

Внезапно сказала:

— Спасибо, ребята. Мы пойдем.

Загудели:

— Голос жены.

— Учитесь, девочки.

Корпуса пансионата уже погасили огни, только лестницы освещены.

— Попросим администратора, в женских комнатах места есть, — сказал Дубовик.

Асия промолчала.

Лампа на столе у администратора уже погашена. Поднялись на третий этаж. Дежурной тоже нет.

— Подождем, — неуверенно сказал Дубовик.

— Зайдем пока к тебе. Я устала.

Потом не раз вспоминали, как шли, что сказал каждый из них, и все казалось и случайным и таким неизбежным. Асия села за столик и, приблизившись вплотную к лампе, обхватив ладонями зеленый колпак, смотрела на электрический огонь, а Дубовик в это время искал, что у него есть на ужин, и видел ее пронизанные светом смоляные волосы.

— Мне кажется, цвет и я ощущаю кожей, — сказала Асия.

— Хочешь — проверим? Завязать глаза?

Дубовик снял со спинки кровати казенное бугорчатое полотенце. Когда заносил его перед лицом Асии, ощутил такую знакомую тяжесть

в кистях рук. Затянул узел, касаясь пальцами ее жестковатых волос. С тумбочки взял книгу в голубоватой суперобложке. Положил перед Асией и направил свет настольной лампы на книгу и на пальцы ее, испуганно застывшие на краю стола.

— Ну?

Пальцы осторожно опустились на голубое, поплыли.

— Ну что?

— Подожди. — Голос ее звучит хрипловато. Да она всерьез волнуется!

— В пальцах точечки, крестики?..

— Не мешай. Темное, светлее, синее, синее...

— Сними.

Асия стащила вниз повязку, глаза глянули радостно.

— Ой! Ну еще...

Дубовик положил брошюру грязно-желтого цвета.

Асия колдовала что-то про волны, про песочек. Дубовик быстро распустил узел полотенца. На этот раз она глядела почти испуганно.

Но две следующие пробы не удались.

— Свет не дневной, — взялся объяснять Дубовик, видя, как все это для нее важно.

Все еще с завязанными глазами Асия подняла руки над собой, тронула шею стоящего над нею Дубовика. Быстро поднялась к нему.

— Постой!

Пальцы тронули затылок, темя. Дубовик, засмеявшись, сжал в ладонях теплые запястья девушки.

— Руками я тебя другим вижу, — сказала она очень серьезно, а губы ее, не закрытые полотенцем, показались Дубовику такими близкими. — Руками будто узнаю...

Не в силах не делать того, что он делает, Дубовик, отведя ее руки в стороны, поцеловал. Такие близкие, доверчиво мягкие в первый миг губы ее сразу сжались, затвердели.

— Зачем ты? Господи, зачем ты?

Сорвала полотенце. Она была та и уже совсем не та, что прежде.

— Ты? Это ты? И я тебя люблю? Я так боялась обознаться! Господи, как я боюсь.

И сама взяла голову его, потянулась кверху и поцеловала. Темные глубокие глаза тревожные-тревожные, а рот растянут в бездумно-радостную, о. ямочками улыбку.

— Так это правда, что я тебя люблю? Да?

Отстранилась, он не отпускал, но тут же понял, что не должен удерживать ее. Асия села к столику, утопив взгляд в свете, долго молчала, а потом проговорила:

— Неужели пройду: и все? И сквозь это? И ничего не останется.

— О чем ты, Ася?

— Ты меня не трогай, ладно? Что у тебя там, я хочу есть.

Но ничего не ела, а все рассматривала красное вино на свет.

— Я не хочу уходить куда-то. Почему я должна?

— У меня есть кресло-кровать. А ты на мою ложись и спи.

Дубовик вышел в коридор, прихватив сигареты и спички. Курил у огромного с металлическими переплетами окна. Ночью озеро будто опустилось, а небо поднялось, и кажется, что окно висит в пустоте. Бросив в урну вторую, незажженную сигарету, вернулся и постучал в дверь.

Стараясь не смотреть на Асию, которая закрылась одеялом до подбородка, он возился с тяжелой раскладной кроватью.

— Возьми, пожалуйста, одну подушку.

Он взял.

— И покрывало.

Взял и покрывало.

Все очень просто. Обыкновенно. Погасил лампу.

Надо только не молчать, а то время начинает ускорять бег, стучит в висках. Но она ничего не говорит. И он тоже не знает, что сказать, что не прозвучало бы фальшью.

Поднялся, поискал сигарету.

— Дай и мне.

Во всем было что-то оскорбляющее неправдой. И в словах, и в молчании.

Дубовик сел на край кровати, зажег спичку. Асия потянулась сигаретой к его руке. Глаза прикрыты опущенными ресницами.

— Прости, Ася, — он произнес это, как признание во лжи. И тогда увидел ее глаза. В них была правда. Руки бело и так доверчиво в темноте потянулись к нему, неловко обхватили шею, голову.

— Джаным, джаным!..

И движение и слово это, так чудесно, так кстати чужое, непонятное, сразу изменило все. Уже не было унизительных слов, движений, молчания, сразу вспыхнуло все, и все, что было недавно оскорбительной фальшью, внезапно стало правдой...

7

Никогда не было так ощутимо время: его быстротечность или, наоборот, неподвижность. Все зависело от того, где в тот миг он, а где она. Вначале Асия приезжала на озеро. Потом он вернулся в город. Она появлялась у него и снова пропадала. И тогда из комнаты будто все исчезало, оставался один телефон. Но телефон молчал или отвечал не ее голосом, но Дубовик все звонил, натыкался на сердитые или веселые голоса, которые или не знали, где она, или советовали, в какой киногруппе ее искать, пока наконец не отзывалась она. Говорили подолгу и тихо, а потом спохватывались и ехали навстречу друг другу.

Четыре дня Дубовика не было в городе. Ему показалось, что прошел месяц. Собственный голос казался чужим, а ее был далекий и очень тихий.

— Ты больна?

— А как ты думал? Ты где? Я еду.

Вошла, такая юная в своем сереньком свитере, ревниво посмотрела на стол, на бумаги.

Села на диван. А он стоял и не мог ничего сказать от счастья, что видит ее, и от горя, что у нее такое несчастное лицо.

— Если хочешь, прочти этот веселый документ.

— Господи, о чем ты!

Села рядом. Блуждая пальцами в его волосах, долго и радостно жаловалась, как ей было плохо без него.

— Видишь, как обхудала. Уедешь еще раз — останется один огарочек.

Потом уже спросила:

— Что ты хотел, чтобы я прочла?

— Не помню.

— Перестань. Я уже серьезная.

— Может, вот этот стишок. И заодно — наряд. Строители подарили.

Глянула в газету.

— Грай? Он же у вас пьесы печет.

— Иногда и стишата. Приехали мы, нас сразу — в контору, бумаги показывают. Все гладко, как в стишке, который Макарушка сочинил об этой стройке еще дома. Потом пошли на рабочие площадки, а там — вот это. Ребята все грамотные, с юмором, как в этом наряде: «С 8 часов до 10 — заполнение траншеи дымом; с 10 до 12 — покрытие бригадира матом; с 12 до 14 — заваливание прораба грунтом». Кстати, было чтото в этом роде и на самом деле. Полез

прораб в трубы: швы смотреть. А его и заварили. Целый километр полз к выходу. Теперь в больнице, а шутники под судом.

— Так что это там происходит?

— Решили мы с цифр начинать, как требует Рикардо. Пошли к бухгалтеру. Старик злой, к нему все идут за рублевыми авансами да за пятеркой на обратную дорогу. А что он может, если фронт работ на триста человек, а позвали сюда все три тысячи. Зашли мы и к дядям и тетям, что клич бросали. А там все просто и понятно: «Маменькины бегут, пусть их, мы еще кликнем!» Сижу вот и пишу. В ЦК. Тут очерком не прошибешь. Стройка ведь не простая и у всех на виду — кто поверит, что там такое?

— Ого, Дубовик!

— Не надо. Это очень серьезно. Но как не вышвырнули нас ребята вместе с этим стишком? Ведь он читал им вечером. Никогда не было так стыдно.

— Значит, ты не идешь на концерт Иммы Сумак?

— Почему я не иду?

— Я думала, что тебе теперь все стыдно.

— Окончу, занесу хлопцам подписать, и пойдем.

— Ну, тогда я к Полине забегу. Выписывается из больницы. Узнала, что создана комиссия по литературному наследству Деда. А возглавляет, знаешь кто? Твой Грай.

— Наглец. Ну, этого не допустим.

— Уже допустили. Вот Полина не допустит.

В театр опаздывали.

— Прости, милый, — время от времени спохватывается Асия, улыбаясь Дубовику в зеркале. У зеркала — вполне восточная женщина священнодействует.

Темные глаза от долгого, ревнивого всматривания в зеркало как-то особенно блестят.

— Отврати лицо свое от жены приукрашенное, — громко посоветовал себе Дубовик и снова принялся изучать книги на стеллажах.

Перестал смотреть на Асию, и сразу оказалось, что она готова и можно идти.

Она все в том же стареньком сером свитере — любимом. Дубовик однажды попытался заставить ее выбрать шерсть на платье. Она сказала, что сама купит, даже спросила, какой цвет ему нравится, посчитала свои деньги, его деньги. И купила роскошную куртку на молниях. Для Дубовика. Предупредила:

— Посмей только еще раз! Хватило мне и без тебя!..

В театре она не замечает ни зеркал, ни обращенных в ее сторону взглядов. Когда вокруг много людей, она похожа на ребенка, который боится, что его обидят, что потеряется.

Села в кресло. Взяла из рук Дубовика бинокль, приставила к глазам, но тут же вернула.

— Что, узкий? — засмеялся Дубовик. — Бинокль узкий?

— Зачем ты? — даже покраснела.

— Глупая, потому и красивые, что такие.

— И тебе тоже — экзотика, я знаю, — сказала с настоящей обидой.

Ушел занавес, на сцене — женщина и при ней ковбойского вида мужчина с гитарой необычной формы. Женщина эта и есть «чудо природы», как о ней пишут. Вот эта...

Зал затих. И вдруг! Кто-то еще появился. На сцене. В зале. В мире. Невозможно было поверить, что голос принадлежит женщине, такой человечески обыкновенной. И что он вообще кому-то принадлежит. Нет, он лишь избрал незаметную женщину, чтобы прозвучать.

Такой необыкновенно высокий и тут же предельно низкий голос — уже не женский и не мужской, а просто человеческий — Дубовик однажды слышал. В пирамиде Хеопса. Сам иногда не верит, что был там, что все это было. Через лаз, пробитый потрошителями гробниц тысячу лет назад, поднялись к узенькой бесконечной лестнице, круто ведущей вверх в теле пирамиды. Черные сухие щиколотки ног служителя-гида мелькали из-под белоснежных одежд, туристы еле поспевали за ним. У пустого саркофага служитель постоял, дожидаясь всех, и вдруг пронзительно крикнул. Голос ушел в серое тело пирамиды, пропал, но снова вернулся — заохал, завздыхал из глубины.

Тогда рядом не было Асии, но даже память уже окрашена ею: постоянно представляешь, а как увидела, услышала бы она. Без нее одиноко даже в прошлом.

...Голос все звучит. Он рождается где-то высоко, наверху, на звенящих ледяных скалах, потом пугающим обвалом рушится в пропасть: эхо ищет дно и не находит, снова возносится к небу дикой молитвой пещер.

Асия слушает напряженно, лицо ее уже не кажется детским, как час назад, а, наоборот, таким древним и немного чужим. И красота его — древняя. Асия видит, слушает свои горы. И там нет его, Дубовика. Он это чувствует...

8

Утром, просыпаясь, она любит взять его руку, рассматривает ладонь внимательно, как рентгеноснимок.

— Казенного там не значится?

— Не мешай. Что-то в тебе болит. Мысль какая-то. Все улыбаешься.

Гладит его ладонью свои щеки, детские, добрые ямочки у рта.

— Я так люблю тобой умываться.

— Но и водой не мешает. Как тот говорил: надо не надо, а раз в год...

Дубовику понравилось играть роль «логика проклятого», «конкретного», как она его иногда обзывает.

— Сколько линий! — жалуется Асия. — И все без меня.

Миг до этого беззаботно сиявшие глаза сразу заблестели слезами.

— Господи, почему только теперь? Но я верну тебе всю, всю себя! Вот увидишь. И ту, что была пять лет назад... А что ты делал тогда?

— Пять лет назад? Писал свои конкретные рассказы.

— Я училась в институте. А семь?

— Работал в школе. И десять — тоже.

— Какой ты древний! Ну, а двадцать?

— Хотели укоротить ногу, а потом раздумали. И ножовку потеряли в блокаду, нечем было.

— Ты будто стесняешься ее, глупый. А я кормила через дверь мальчишку, беженца. Так жалко, что это был не ты!.. Ну, а раньше, еще раньше?..

— Детдом... Да я тебе рассказывал.

Асия погладила его руку. Попросила:

— Не надо. Не уходи туда, где меня нет. Не надо.

Дубовик поднялся, поискал в столе сигареты. За окном серое, уже какое-то не летнее утро. На подоконнике книга. Ага, то место!..

«Что это? Что это такое? — спросил он у ямщика.

— А горы, — отвечал равнодушно ногаец...»

Дубовик стал читать вслух:

«...С этой минуты все, что только он видел, все, что он думал, все, что он чувствовал, получало для него новый, строго величавый характер гор... Взглянет на небо — и вспомнит горы. Взглянет на себя, на Ванюшу — и опять горы... За Тереком виден дым в ауле; а горы... Из станицы едет арба, женщины ходят, красивая женщина, молодая; а горы...»

— Да! Да! — Асия даже села. — Что бы ни происходило вокруг тебя или в тебе, а они есть всегда — белые, чистые.

— Это «мой Толстой».

— Господи, и это запомнил! Что ни скажу — запомнит. Ты так и будешь только вчерашнюю меня знать.

— Знать бы бедняге, поставившему жилье на тонкой льдине, где и когда она треснет.

— Ну, ты не очень боишься. Тебе некогда об этом. Все о том, что вчера было.

— Пересаливаем? Знаешь, после блокады, когда соединились с армией, люди ложками ели соль. Столовыми. Организм долгое время был обессолен, и даже столовыми трудно вернуть равновесие.

Они уже собирались уходить — Асия на киностудию, Дубовик в архив (потянуло снова), — когда вдруг резко ударил телефон.

Междугородная.

Внезапный, прорвавшийся откуда-то издалека голос Ларисы:

— Таня просит приехать. Запоздалая корь. Нет, не тяжело. Но плачет, требует, чтобы позвонила тебе. Чуть заболеет — делается такая упрямая. Просто невозможная...

— Тебе надо ехать? — спросила Асия.

Дубовику показалось — голосом Ларисы.

Огляделся. Бумаги на столе сдвинуты, в грязных тарелках окурки...

— Возьми такси. Разреши мне купить Тане чтонибудь в подарок.

— Все же теперь закрыто!

Голос его прозвучал нехорошо. Но ничего не хотелось исправлять.

Проводила его до стоянки загородных такси. По-детски тревожные глаза скользнули за стеклом, как бы остались в прошлом.

9

Не с полпути, как бывает, а с первого же километра Дубовик весь был там, куда ехал. «Упрямая...» «Невозможная...» «Тебе надо ехать?» Все такое далекое. Все, кроме Тани.

Вымытый дождем асфальт, встречные машины, березы, уже начинающие желтеть, темная щетка придорожного ельника, в разрывах которого уже по-осеннему чернеют поля, — все, не задерживаясь, проносится, уходит...

В город приехал в полдень. Не смотрел, а видел, узнавал каждый поворот, каждый дом. А город, старый от пыли и жары, смотрел на него. Ага, возвращаешься! Думал — тут твое прошлое. А тут все, что у тебя есть. Все!

Таня в городской больнице. Лариса положила ее «к себе». Лариса права перед бывшим мужем еще и в том, что она — детский врач и больше нужна сейчас Тане, чем он.

Больничная няня узнала его не сразу. Он виновато назвал себя. Да, да, Таня говорила, что папа приедет. А Ларису Федоровну на визит вызвали...

Пошли по коридорам, заставленным раскладушками, потом — по лестнице. Детское отделение слышно издалека. Няню задержали, Дубовик пошел один. Все двери распахнуты. Каждое любопытное, серьезное, лукавое, страдающее личико останавливает и торопит, заставляет идти дальше: в этой? в этой? Но и в последней палате Тани нет. Две бледные толстушки, сидевшие на подоконнике, юркнули под простыни. У дальней стены спит девочка, очень длинная на полудетской кровати. Лежит, отвернувшись к стенке, видны только короткие волосы да тонкая рука.

Уже возвращаясь в коридор, смущенный и с бьющимся, как от бега, сердцем, Дубовик вдруг понял, что тонкая рука — Таня! Бросился назад, а Таня уже смотрит, й тут же вскочила на длинные ноги с острыми, как у птицы, коленками, пошатнулась на сетке и радостно упала на него с детской уверенностью, что он подхватит.

— Ой, а я сплю и думаю: кто это вошел?

— Какая ты выросшая! И без косичек?

— Подумаешь! В классе только у троих остались. А я, папа, сплю и думаю...

Жить Дубовик остановился в гостинице. Лариса звала, даже настаивала: поживи у нас, Михаил все-таки выше этого! Ты же знаешь!

Дубовик знал, но остался в гостинице. Так проще. И можно оставаться подольше. И рядом с больницей. Туда он уходил с утра. Подружился с бледными толстушками, и им всем было весело. Няни терпели. Даже Лариса не замечала, что у нее в отделении непорядок.

Приходил, выкладывал, что принес, а Таня сразу требовала: сядь, наклонись. Трогала, мяла мочки его ушей. (Ей и раньше нравилось: прибежит с улицы и мерзлыми пальчиками «доит» их.)

— Ты долго будешь здесь?

— Да. Сколько захочешь.

— Всегда! — тут же поймала его и засмеялась. А в чистых, как солнечный родник, глазах вдруг поднялись с самого дна темные фонтанчики грусти.

Дубовик все обдумывал, как он поговорит с Ларисой, и они что-то перерешат. Она тоже, кажется, меняется. Хотя всегда считала, что

меняться надо не ей. Имеет же право Таня жить и у него. У других ведь бывает. Или эти другие тоже другим завидуют?

К Ларисе домой Дубовик поехал, когда Таню выписали из больницы. Всю дорогу с Мишей проспорили о мефистофельском парадоксе Лампедузы: в новом больше всего нуждается старое, когда уже не может сохраняться в прежней оболочке. А самое старое на земле — человеческое властолюбие. Самодержавное ли, «культовое» ли...

Вот так, бывало, спорили, провожая Ларису из театра или со студенческого вечера, — оба болтливые от влюбленности. Но тогда они гоготали от избытка молодости, а она смотрела на обоих как-то со стороны и казалась загадочной. Потом Дубовик все чаще один провожал Ларису. Чаботарю оставалась аспирантура. Но уже тогда порой появлялась мысль, что если бы у Михаила, а не у Дубовика было больше свободного времени и настойчивости, Чаботарь, а не Дубовик видел бы каждый вечер загадочную улыбку Ларисы. Потом, когда уже многое было и ушло, мысль эта стала просто навязчивой. Лариса? Почему — она? И почему именно он, если мог быть и другой? Ребенок — именно этот — тоже вроде случайность. Но ведь нет этого чувства: почему он? Это настоящее. Любовь не знает таких вопросов.

Странно, что для Асии он — «логик проклятый». Ларисе же представлялся — и с каждым годом все определеннее — бестолковым фантазером. Ей это надоело очень скоро. Надо же когда-то умнеть, если сразу не удалось! А он даже не старался. Ну, не захотел в аспирантуру, так и в школе не сработался, а газету, видно, для того лишь придумал, чтобы не видеть и не слышать Ларису!

Командировки и правда затягивались все больше. А когда возвращался, чувствовал себя гостем, с той только разницей, что с ним не церемонились. Удивительно, как Лариса — такая сдержанная на людях — не умела говорить тихо. Из-за любого пустяка — крик. К матери своей, к Тане, к нему — все с криком. И главное, сам он скоро перестал отвечать ей радостным смехом. Забавным («Смотри ты, как в настоящих семьях!») это казалось только первое время.

Удивительно, как тогда все имело значение. Все, кроме самого главного. О Тане говорили много: и она и он. А думали, кажется, мало...

И вот тогда снова появился Миша Чаботарь. Оказалось, что Лариса ошиблась: любил ее по-настоящему один Миша. (Кого она — это как-то даже не обсуждалось.) Видимо, так оно и было, если и через пять лет Михаил легко нашел дорогу в прошлое, которое для Дубовика оказалось заваленным черт знает чем.

Вон как смотрит Михаил на сердито строгий, немного отяжелевший римский профиль жены: покорно и одновременно гордясь.

Он и теперь считает себя грабителем, а Дубовика неумным расточителем счастья, которым его одарила судьба. «Ты, брат, прости, но она у тебя несчастна», — это Михаил сказал пять лет назад. Сказал, искренне огорченный. Стоял перед Дубовиком, протирал пенсне, почему-то не снимая его, закрывая платком то один, то другой глаз, а Дубовик, помнится, смотрел на нейлоновую чистоту его рубахи и зачем-то гадал: она или не она завязывала ему галстук.

С Ларисой объяснение произошло тоже на улице. Говорила почти одна Лариса, и так, будто это он уходит или даже ушел уже. Так и поныне остается: во всем только он виноват.

Асия любит повторять: «Сходить, что ли, замуж?» Но сходила, кажется, Лариса. И сходила первый раз и второй.

Да, ну а каким ты сам выглядишь, если ее глазами смотреть? И любыми — если помнить все. Только — все. Да, была обида, растерянность, но и какая-то благодарность Ларисе: решилась на то, на что сам так и не решился бы, хоть столько думал. Было и это. Ведь было!

Такси свернуло на знакомую улицу с деревянными тротуарами, зеленую и тихую. От машины посторонилась старушка, прогуливающаяся с худеньким мальчиком лет трех.

— Ой, папа, это же Павлик! — крикнула Таня и потянулась к заднему окошку за своими и Павлика игрушками.

Дубовик вышел, поцеловал Павлика, который для Тани — брат. Поздоровался с матерью Ларисы. Старушка обрадовалась, но тут же опасливо глянула на дочку.

Таня осталась на улице.

— Садитесь и курите, если это так обязательно, — сказала Лариса, когда вошли в дом. Со смешанным чувством недоумения и боли смотрел Дубовик на стены, на знакомый иконостас семейных фотографий. Среди родственников Ларисы и он — с палкой, улыбающийся, под шляпой. Шляпу, помнится, взял у Михаила, который в кадр не попал, хотя стоял рядом. Снимала Лариса. Теперь «в кадре» Михаил, так-то, брат. Обстановка в комнатах новая, кроме стеллажа и стола. С тех пор у Дубовика не было постоянного письменного стола и стеллажа для книг. О чем это ты? Стареешь, друг. Пригласили тебя как человека, а ты вон куда! Ничего, Миша, не беспокойся, лишь коса мне по-прежнему нравится, правда, когда свободно, а не вот так, строгой короной. Но волосы — материя неживая...

Все в порядке. И очень кстати, что голос у Ларисы такой сердитый, это упрощает ситуацию, и можно продолжать удобную игру: мы — угнетенные, безответные мужчины.

— Тебе помочь? — Чаботарь спросил и радостно глянул на Дубовика: мол, что сейчас будет!

— Помощь от вас! Хоть не мешайте. Мусорить — вот ваше назначение на земле.

— Зато идейное руководство, — вставил Дубовик.

— Да без нас вы шерстью обросли бы! Грязью, во всяком случае.

— Читал твои новые рассказы, — сказал Чаботарь, удобно усаживаясь в кресло, блестя своим профессорским пенсне. — Признаюсь: прежние больше нравились. Повторяете и повторяетесь. Было время разобраться.

— Ты уже разобрался?

— Факты — вот хлеб историка. А разные там страсти-мордасти...

— Ну и много добыли этих самых фактов? Или все на пайке?

Чаботаря упрощать не следует — это Дубовик знает лучше, чем кто другой. Хотя бы потому, что он сам себя упрощает. Это его черта.

Пришли с улицы дети с бабушкой. Разговор сразу перешел на Таню: как она ножницами обрезала косичку. Резала и заранее плакала. Упрямая делается! Невозможная!

Дубовик видел, как опустила Таня ставшие незнакомо сердитыми глаза. Да, в ней есть упрямство, желание оспорить безраздельную в доме и в ее жизни власть матери...

Дубовик продолжал жить в гостинице, но каждое утро, как когда-то к Ларисе, приходил на знакомую деревянную улицу, и они с Таней шли в школу. Днем встречал ее у ворот школы. Первым делом взвешивал в руке портфель: потяжелел ли от пятерок? Дочка улыбалась снисходительно.

Таня все реже задает вопросы и все больше рассуждает сама. И если спрашивает, то не о том, что в эту минуту пришло на ум, а что радует или мучает ее.

— А хорошо, что меня не было, когда война была! Правда, папа?

Много раз все про одно:

— Зачем люди умирают?

— Ну, а волшебная палочка?.. — неуверенно увиливает папа.

— Нет никаких палочек. — В глазах почти отчаяние.

Кажется, Дубовика в ее возрасте это не мучило. Или уже забыл?

Однажды у кинотеатра, посмотрев на вход, неоново освещенный, и на темные ворота, из которых валила публика после сеанса, Таня воскликнула:

— А я знаю!

— Что?

— Зачем умирают. Это — как кино. Одни посмотрели, пожили — другим тоже хочется.

Сердцу тесно сделалось, когда Дубовик увидел, как обрадовалась, просияла она от своей догадки.

Для Дубовика все невозможнее казалась мысль, что он уедет один.

Минул месяц. Однажды к школе пришла Лариса. Таня, обрадованная и успокоенная, пошла впереди с подружками.

— Разве ты не видишь, что травмируешь ее? — спросила Лариса.

— Нет.

— Тебе пора уезжать. Зачем ты приучаешь ее к себе? И не присылай лишних денег. Мише неприятно.

— Я не вам. Просто лишние оказались.

— Ты всегда считал, что я мелочная. Так вот — не считай!

Он не считал так, и она это знает, но не сказать, если представляется случай, не может.

— Как твое сердце? — спросила Лариса.

— Я не прислушиваюсь.

— Не пей столько.

— Сколько?

— Я знаю, как вы там.

— Тебе-то что?

— А что у Тани вот так, тебе, конечно, наплевать, — упрекнула Лариса.

— Еще что ты сообщишь?

— Тебе всегда на все было...

— Не растрачивай на меня, что принадлежит уже не мне.

— Ты неблагодарный.

Таня, оглянувшись, счастливо улыбнулась им.

— Костюм бы людской купил, — сказала Лариса. — Пальто приличного и теперь нет? Один этот плащик?

— «Потом пришли двуличные, надев пальто приличные...»

— Можно писать книги и не светить потертыми штанами, — здраво рассудила Лариса.

— Лора, милая, дай нам с Таней пожить. У меня есть квартира. Теперь здесь, а с весны...

— Если бы хотел, не ломал бы всем жизнь.

Через три дня Дубовик уехал.

10

Прямо с вокзала пошел по редакциям. Это здорово вытряхивает из человека всякую серьезность.

Первый встретился Осип:

— Вернулся? Приходила Асия. Спрашивала, пишешь ли нам. Я объяснил, что ты не силен в грамоте.

— Куда приходила?

— Домой ко мне. Покурила и ушла. Ну, а там как? Таня здорова?..

Редакции не помогли. Пошел по улице.

Осень уже. Городская, одетая в «болоньи», красные и синие, фыркающая из-под колес такси, смотрящая желто-красными глазами с фруктовых лотков и стеклянным глазком нахохлившегося голубя. Где-то пролетают спутники с двухзначными номерами, в эфире имена Освальда и Кеннеди, которые навсегда рядом, даже если тяжелые тома документов, подготовленные комиссией Уоррена, окажутся легковеснее какого-нибудь запоздалого свидетельства... И снова открытая полемика... И завещание Тольятти... И радующее: урожай хороший! В глазах, в походке людей вроде уже и нет прошлогодней нервной торопливости...

Позвонил на студию. Недовольный мужской голос подумал, посомневался, но пошел искать. Минуты, пока ждал ее, были возвращением. И когда услышал быстрое «да?», все, что за этот месяц отошло куда-то, снова было с ним, в нем. Спросила про Таню. И вдруг сообщила, что собирается уезжать. Приглашают сниматься. Могла уже и уехать. Не знает, почему не уехала.

— Ты где? — спросила наконец.

— Здесь, у входа в парк.

— Да, там совсем осень. Я сейчас.

Видел, как сбежала со ступенек. В синтетическом пальто, черно поблескивающем, с непокрытой головой, она быстро шла между пожелтевших лип парка, а Дубовик шел ей навстречу.

Подошла, коротко, как на малознакомого, глянула:

— Здравствуй.

Мокрые, мягкие листья на асфальтовой дорожке остро пахнут деревенской избой, кислым хлебом.

— Таня очень выросла?

— Да.

— Когда у меня будет мальчик, — сказала Асия тихо, сама себе, — тоже будет осень. А он в коротенькой курточке. Упадет на листья и будет кататься. Как ежик. Будет все делать, что мне нельзя.

Свернула с асфальтовой дорожки вниз, под деревья, не желая замечать, что ноги мокрые. Ей приходится пританцовывать на носках: каблуки острые. Со стороны покажется, что ей очень весело сейчас, но Дубовик рядом и видит слезы.

— Ну что ты, Ася?

— Я так вся измучилась. Даже не написал, не позвонил. Я понимаю... Я уезжаю. Буду сниматься в их дурацком фильме.

— Чьем?

— Тебя это сейчас интересует?

— Ты же сама не любишь писем.

— Все запоминает. Все, что ни скажу...

Пошли к дорожке, что у самой речки. Река по-осеннему серая, дымящаяся.

— Господи, что со мной будет?.. Если я разлюблю тебя?

— Это будет нехорошо с твоей стороны, — постарался упростить Дубовик.

Но Асия его и не слышит. Когда ее взгляд вот так обращен внутрь, он всегда немного испуганный.

И вдруг:

— Ты из меня бабу делаешь! Слезливую, глупую! Не хочу!..

11

Дубовик любит внезапные поездки. А тут еще Асия так радуется, что они едут «догонять лето».

Последние недели она была то неистово ласковая, то вдруг — слезы. Дубовику казалось, что в ней проснулось что-то очень ему знакомое, трогательное, но и пугающее. Глубже — и в ней то, что и в Ларисе. «Баба», как она сама говорит. Только эта всю жизнь судорожно уходит от самой себя.

Внезапное приглашение Дубовику из Туркмении приехать, посмотреть, погостить показалось выходом. Новая дорога, движение к незнакомому — это поможет обоим.

— Ты много летала?

— Если и сны считать — очень много. У меня они всегда цветные.

— А я, если и летаю, то всегда вниз.

— Бедный!.. А хорошо бы и не возвращаться на эту работу. Я там, как кладбищенский сторож. При отвергнутых почему-то и бог знает почему не отвергнутых сценариях. Зачем это мне?

— А есть — твоя работа?

— На лошаденке в горы ездить. Как мама когдато. Или рисовать. Цветные сны свои.

— А стихи?

— Это лишь для себя.

— Напиши, чтобы мы ахнули: ах, вот как это у них бывает, а мы-то, мужики, думали, мы-то сочиняли за женщин их лучшие чувства, их любови!

— А ты не заметил, — Асия глянула незнакомыми, странными глазами, — что я пишу? Все время пишу. Собой. Это, наверно, и есть мой талант: писать собственной жизнью. Стихи мои — только странички, уносимые ветром. Нет, не думай, что я строю сюжет. Я только нажимаю кнопки и не знаю, что — за красной, за желтой, за белой...

— А ты не залитературиваешь себя, свою жизнь? Чуть-чуть.

— Не знаю. Я не думаю об этом.

— И не осталось в этом чего-либо от высокого восточного стиля?

За стенами аэровокзала воют моторы, радио объявляет о рейсах и опозданиях. Люди выходят, входят и садятся на гнутые упругие цветные стулья.

— А все же надо тебе попробовать сняться в кино. Только не уезжая, здесь, — сказал Дубовик.

— Здесь меня не приглашают. Да и не смогу я играть кого-то другого, не себя... Постой, что ты меня все сбываешь? Не хохочи, я же вижу! То, что во мне, со мной и уйдет. Не хочу, чтобы даже строчка от меня осталась. Потому я и писем не люблю. А знаешь, в чем я останусь? Я в это верю, как ты в свою бумагу. Помнишь в «Туманности Андромеды», но я это знала и сама: юноша, далекий-далекий, вдруг увидел облик девушки, лучиком проникший из других миров. И загрустил. Вот в такой грусти остаться...

Пассажиры приходят, уходят.

Асия вдруг предложила:

— Давай, как тогда, будем сочинять нас обоих.

— Я не поспеваю за тобой.

— Какое резкое, некрасивое лицо, правда? У того, что с деревянным ящиком. Наверно, художник, собрался на натуру. Но это не он, а ты. Зашел на минуту, смотришь на часы. Видишь и меня, но мы не знакомы. Сейчас повернешься и уйдешь, так и не узнав, что это я. Уйдешь навсегда.

— Уходить он, кажется, не спешит. Чего доброго, мольберт свой здесь раскинет.

Асия засмеялась. В своем черном поблескивающем пальто и с открытой по обыкновению головой, она такая заметная здесь. И еще эти по-восточному отрешенные, даже когда смеется, длинные глаза. Конечно же, он видит и уходить не собирается.

— Не порти игру. Это не он, это ты.

— Я тоже так таращусь на незнакомых?

— Что ты оттуда сейчас думаешь?

— Я отсюда думаю... Думаю, что тот тип твою улыбку себе присваивает.

— Это ты, ты смотришь, но сейчас повернешься и уйдешь. Навсегда, если я что-то не сделаю. Мы никогда не будем знать, что другой есть на свете.

Она уже не улыбается. И вроде даже побледнела. Вдруг оттолкнулась руками от стула, поднялась и пошла прямо к парню в цветастой рубахе и с ящиком у ног. Прошла полпути, остановилась, оглянулась.

— Ну, что ты? Идем же!

Дубовик взял рюкзак и вдруг со злостью ощутил, что рука дрожит. А парень с плоским ящиком быстро повернулся и пошел в вестибюль.

И тут объявили самолет. Очень кстати. Теперь легче делать вид, что ничего не произошло. А собственно, что случилось? Ты лишь почувствовал, что она прежняя — непрерывное изменение. Но ведь вчера тебя испугало совсем другое: показалось, что она остановилась, на тебе, но остановилась. Ну так радуйся, что ты ошибся, что она прежняя. .Что же не радуешься?..

Постояли, как чужие, у железной калитки, потом, ускоряя шаг, пошли к самолету.

— Люблю такие большущие плиты, — сказала Асия, глядя под ноги. Подняла глаза: — Глупый...

Больше об этом они не говорили.

Загудели моторы, тронулись серые квадраты за круглым окошком, потом земля осела, горизонт стал заваливаться, и все, что мучило, как бы отрывается от тебя, остается позади. Это первое чувство большой дороги, когда ты словно высвобождаешься из-под нависших, навалившихся обычных дел, мыслей, чувств, не стареет. Но все другое, если много ездишь, притупляется, и ты не только находишь, но и теряешь. Воробей! Смотрите, турецкий воробей! А полмесяца спустя тот же человек бродит среди павильонов Всемирной выставки так спокойно, будто и завтра заглянет сюда на часок...

Но начало пути — всегда, как впервые.

Пока смотрели на залитое светом снежное Заполярье облаков, читали журналы, обедали и радовались, что летят, что вместе, стала видна земля, размытая солнечным светом. Облака внизу уже кажутся тающими снежными островками. Потом они и вовсе ушли из-под самолета. И вдруг — точно кто синие чернила пролил, стирал и грязно размазал края — КасшГй!

Началась настоящая пустыня, без дымки, пятнистая, в серых оспинах солончаков, с извивами высохших русел.

— Арабские письмена, — сказала Асия.

— Перевела бы.

— Дубовик, не дразни. Еще неизвестно, что тебя ждет, если я и правда почувствую себя Азией.

— Сделаешься покорной, ласковой, как японки в туристских очерках.

— Это дураки пишут. Покорна, пока покорна. Зато если вырвется!

— Как ты.

— Я что, я только в разведку ушла.

— И стала больше Европой, чем сама Европа.

— А так всегда бывает.

Земля встретила сухим жаром. Дубовик взял на руку свой плащ, пальто Асии. Тонкий серый свитер Асии тоже не очень кстати здесь.

Смуглый, с удивительно четким профилем шофер такси значительно ответил, когда Дубовик сказал, что город отстроился:

— Да, было...

Но Дубовик, кажется, больше помнит, чем этот местный житель. Помнит очень скупое сообщение о землетрясении в Ашхабаде и как подтверждение масштабов беды — большие очереди в коридорах университета: нужна донорская кровь...

Дубовик велел шоферу везти в гостиницу.

— Влетит нам от Мурада, но так удобней.

— Ты давно с ним знаком?

— С пленума, московского.

— А, это когда твоего Евтушенку учили жить.

— Так кто же мой? И Макарушку моим обзываешь.

— Бывает подоночная непоэзия, а бывает не подоночная, но тоже непоэзия.

— Хорошо, Асия, что ты не самый главный редактор. Плохо пришлось бы всем, кто не Лорка.

— Не беспокойся, это вам не угрожает.

Дубовик вдруг вспомнил:

— А знаешь, как один деятель учил читать поэзию? Мол, обратите внимание: семь раз спрашивает, хотят ли русские войны, а ни разу не сказал открыто, твердо, что нет, не хотят.

— Господи, хоть в пустыне дай отдохнуть!

Позвонил на радио и сразу услышал радостный крик Мурада:

— Еду! Ты где? Как в гостинице? Почему в гостинице?

Вбежал и сразу:

— Собирай чемоданы и ко мне, а то я с тобой незнаком. Здравствуйте!

Последнее — Асии.

Черные очи толстяка гневно сверкают, но все равно добрые. Через минуту они уже болтали с Асией.

— Был один аю, — говорит она, — теперь два.

— Далеко мне до него, — довольный, прикинул Дубовик.

А когда уселись обедать внизу в ресторане и Мурад подобрал блюда, Дубовик высказал подозрение, что у Мурада тайное намерение всех сделать такими же круглыми, как он сам.

Три дня привыкали к внезапному лету, ездили на искусственное море, в которое тут все влюблены, и сами начали понимать, какое это чудо — вода, обыкновенная вода! Познакомились с женой Мурада — очень молчаливой. Детишек у них не то четверо, не то вдвое больше. Не сосчитать — такие они подвижные!

— Ашхабад в переводе — «город любви», — смеется Мурад. — Учти, Асия.

Наконец Мурад согласился, что утром можно ехать дальше. С вечера договорились обо всем, и он ушел домой.

Асия в серых брюках с ногами сидела на кровати. Дубовик собрался уходить к себе. Губы Асии дрогнули обиженно.

— Я лягу, а ты посидишь чуть-чуть. Никак не привыкну к этому потолку. Только посиди, — шепчет, шепчет, обиженно выпячивая губы.

— Постучат сейчас.

— Так и знала, что скажешь!

— Что поделаешь: логик.

— А что, неправда?

И снова что-то шепчет, шепчет, можно лишь разобрать, что он не любит, что ей плохо...

— Я посижу.

Перестала шептать, подскочила на коленях, как на цирковой сетке. Понравилось — она еще выше, чтобы увидеть себя в зеркале, висящем напротив.

— Фу, какая глупая! — сказала радостно о своем лице в зеркале.

Стала у зеркала, недовольно изучает себя.

Дубовик подошел, стал за ней. На них смотрят глуповато-счастливые лица, на которых одинаковый вопрос: «Какие мы, когда рядом?»

— Какой ты длинный! — головой прижалась к его подбородку. Длинные прямые ее волосы пахнут прохладой. — Вон какие печальные черточки у тебя над глазами. Ты в них прячешь себя.

— Ничего себе печальник: рожа, как у будочника.

— А у нас когда-нибудь будет красивый сын. Твои скулы... Лоб... Нос... Постой! А что мое?

Смотрит растерянно:

— Глаза, хорошо?

Дубовик поцеловал их, радостно темные.

И губы — обиженные, мягкие.

— Ну, хорошо, пусть и губы мои, — согласилась Асия. — Ты правда любишь меня? Ну, хорошо, и шею мою. Если девочка. И руки. Почему ты никогда не скажешь, что у меня красивые руки? Никогда ничего не скажет?

И тут постучали.

— Ага, ты и рад! — возмутилась Асия. — Как все по тебе устроено. Тоже мне — «город любви». Ну что ты хохочешь? И уходи! Даже не поцелует. И ладно, можешь ту дуру, что стучит, поцеловать.

Но поцеловала его сама.

Утром долго не могли ее разбудить. И звонили и стучали. Потом, не спеша, умывалась, не обращая внимания на выражение лиц Дубовика и Мурада. Чудом не опоздали на поезд.

В Мары приехали в самую жару. Мурад сразу исчез. Что-то изобретает. Дубовик и Асия долго ходили по улицам, заглядывали на небольшие базарчики. Асия хозяйкой тут себя чувствует, а Дубовик уже будто гость ее. Жажду гасили то виноградом, то арбузом. Удивительно нешумные здесь люди. Не верится, что Восток.

Пошли к каналу, за которым, как близкие вражеские разъезды, — барханы. На воде стоят пароходы, груженные сухим, как кость, и будто известкой обрызганным, саксаулом.

Как-то у себя дома, в густом, тенистом бору, Дубовик увидел ярко-желтый, пухнущий под вереском песок и необычайно остро ощутил, как близко, под ногой у человека, — пустыня!

Здесь пустыня вышла наверх, пока народы в кровавых схватках побеждали друг друга. На месте зеленых долин улеглись барханы, похожие на ленивых прожорливых допотопных зверюг.

Мурада нашли в гостинице. Загнанный, не поднимаясь с дивана, сообщил:

— К головному каналу идет катер. Это к самой Амударье. Через два часа выезжаем.

— Ты — факир, Мурадушка, — воздала ему должное Асия.

12

Если ты на пороге пустыни, обязательно потянет войти. Вспомнилась девушка, которая приехала к геологам и утром, выпив стакан молока, решила взглянуть на пустыню...

Слушая свой голос, так странно звучащий здесь, в пустыне, Дубовик пересказывает Асие когда-то читанное.

Увели барханы девушку. Вот такие — хитро-неподвижные, спины в свирепых складках. Минул страшный день, ночью девушка разгребала песок, чтобы коснуться губами влажной земли. Еще день прошел. Когда нашли ее, рассказывала, что самое страшное мучение было — мысль о лужице пролитого утром молока. Могла слизать со стола и не слизала...

Асия слушала не то Дубовика, не то тишину пустыни, в которой даже шорох одежды гремит. Повернулась лицом к каналу, где остался катер, смотрит на заплывающие следы, оставленные босыми ногами в мягком, мелком, как мука, песке. Вперед засматривает, где нет следов.

— Не умереть жутко. А это — жалеть о пролитом. Сколько ни было всего, а в конце важен один-единственный глоток. Тот, которого не сделал.

Ночь в пустыне ложится быстро, и сразу — холод. Впереди заблестели огни шлюза, пароходов. Калистратович — молодой строгий моторист катера — причалил к землесосу, громко спросил, какой сегодня фильм на берегу, и только тогда повел катер к берегу.

Грохот мотора оборвался, в ушах пустота и звон, как после самолета.

При свете батареек поужинали консервами и сгущенным молоком. Калистратович тут же ушел на берег. «Факир», лежа, поставив на живот «Спидолу», привезенную Дубовиком, долго слушал все, что попадалось ему. Глянув на торчащую над ним антенну, Асия заметила:

— Управляемые по радио.

«Факир», кажется, по-своему истолковал ее неудовольствие. Вдруг и ему захотелось в кино.

А Асие обязательно надо сесть наверху, на кабину катера. Позвала Дубовика:

— Где ты там? Возьми что-нибудь теплое.

Закутавшись в принесенное из каюты одеяло, она долго сидела молча. Даже длинные волосы ее казались печальными. Большие южные звезды низко висели над пустыней.

— Коля!

— Да.

— Какая я?

— Хорошая.

— Весь урок повтори.

Дубовик, смеясь, повторил.

— Никак не можешь без подсказки.

Трогая пальцами лицо, голову, волосы Дубовика, который сидит ниже, прислонившись к кабине, Асия спрашивает:

— А как мы встретимся через сто лет? Или через триста? Знаю, что встретимся. Ты станешь, да, ты станешь деревом. С таки-и-ми корнями. Мурад — тот будет камнем: один бок прохладный, второй — к солнцу. А ты деревом будешь стоять, твердым и стремящимся вырваться из твердого. И будет пролетать ветер — ой, что это? — странный, забытый запах! Ветер вернется, пошарит в ветвях, вот так поласкает, полопочет... Мы не узнаем, не вспомним друг друга, но дерево зашумит-зашумит вершиной... Ты не слушай слова, только голос. Я же не словами говорю!.. Ненавижу слова!..

13

Асию разбудил нестерпимо яркий свет, теплой, удушливой маской легший на лицо. Открыла глаза. Край ветрового стекла, видимый из каюты, ослепительно плавится от утреннего солнца. Наверху тихая музыка и голоса, а в каюте — никого, кроме нее, только разбросанные после ночи фуфайки, одеяла да на стенке висит ружье. Снова они там крутят «Спидолу» и толкуют, как на собрании!..

— Левитан сообщил, — голос «факира», — а теперь только музыка, на всех волнах одна.

— Может, испортился приемник? — говорит Калистратович.

— Сам слышал, говорю же вам!

— Значит, случилось, — голос Дубовика. Для него всегда все важно! — Теперь там пески, одни черные пески.

Асия выглянула в люк. Но ее вроде не узнали. Ах вы, политики несчастные!

— Война началась! — вдруг сказал Дубовик. — И, может, уже кончилась.

— А мы? — удивленно спросила Асия.

Землесоса и пароходов уже нет, и на берегу — ни души. «Они тоже там», — подумалось как о чем-то очень понятном.

Над желто-бурыми барханами вспухает, наливается солнце, но оно совсем не лучистое. Красное полушарие, потом шар — солнце стремительно поднимается над пустыней, делается все меньше и вот уже пропадает в небе темным шариком. Но почему тогда светло? И почему я спокойна?

Черные ежи, которые раньше казались кустиками травы, вдруг зашевелились и поползли от канала в пески. Это черепахи, большие, беспомощные, их тысячи, и все ползут в сторону горячей пустыни.

И тогда зашевелился, стал расти далекий, самый большой бархан. Нет, это дым, беззвучный, черный, и он движется сюда, все быстрее.

Все пропало: домики на пустынном берегу, канал. Только тихая музыка ниоткуда да теплый и мягкий, как детский тальк, песок под босыми ногами, а на барханах — длинный, странно прямой поезд из зеленых вагонов и черно дымящий паровоз. Незнакомый парень стоит перед Асией, в руке у него плоский деревянный ящик.

— Быстрее надо, — говорит он, — это последний поезд. Он привезет нас к гибели раньше, чем погибнет все, но это последний — надо спешить.

— Асия, Асенька, что с тобой? — совсем другим голосом спрашивает парень с ящиком. — Тебе плохо?

Яркий луч сверху бьет в глаза, плавится ветровое стекло...

— Приснилось что-нибудь? — спрашивает Дубовик, заслонив нестерпимый свет. — Идем искупаемся. Хлопцы уже в воде.

Наверху музыка.

— Господи, ты уже и сны свои мне передал, — сердито пожаловалась Асия.

14

Вода в канале, мутно-серая с утра, зеленеет, а на отмелях становится розовой, как только взойдет солнце. Очень торопливое утром и вечером, оно совсем неподвижным кажется в полдень. Асия радуется этому зависшему солнцу, будто хочет согреться перед зимой, которая ждет дома.

Положив подбородок на колени, часами смотрит, как за катером широким клином расходится волна, охлестывая непрочные берега, тревожа пожелтевший камыш.

Дубовик, положив фотоаппарат и ружье на кабину, следит за далекими стайками короткохвостых уток, которых распугивает грохочущий катер, за кружащим высоко каракумским коршуном.

Из кабины, где Калистратович и «факир» со своей «Спидолой», вдруг прорвался торжественный голос Левитана. Из люка выглянула широкая, сияющая физиономия «факира».

— Слышите? Опять мы запустили! Троих!

Калистратович из уважения к новости заглушил мотор. И Асия уже не говорит про управляемых по радио. Слушает.

— С далеких созвездий мы должны казаться очень мудрыми. И счастливыми.

Сказала несколько грустно.

— А может, издали виднее, — возразил Дубовик. — Такую планетку отхватили, а радоваться не умеем, не научились! Или разучиваемся. Мне иногда рисуется такая картинка. Запущена ракета, которой лететь на протяжении многих поколений. Родившиеся и выросшие в пути не знают земной жизни, а той, что на новом месте, им тоже не дождаться. И вот появляется состояние психологической невесомости: ни верха, ни низа, ни прошлого, ни будущего, а лишь то, что в сию минуту.

— Какая же это картинка! — возмутилась Асия. — Одна логика. И рассуждаешь, как твой Макарушка!

Опять появились слоновые хоботы насосных станций, жадно протянувшиеся к воде. Далеко еидны равнинные поля, кое-где все еще снежно белеющие, — неубранный или плохо убранный хлопок. И домики.

В этом совхозе у «факира» есть знакомые. Они у него по всему каналу.

— Может, завернем?

Мурад и Дубовик смотрят на Асию.

— Можете идти, — сухо ответила она.

Два дня назад уже побывали в гостях, и кончилось это не очень весело, хотя вначале веселились — особенно Дубовик. И сидели на коврах, и пили зеленый чай, прополаскиваясь перед обедом. Рассматривая большой портрет хозяина (уже не белозубо улыбчивого, а очень строгого и даже важного), Дубовик поинтересовался, почему нет портрета хозяйки. И подумал, что здорово сдипломатничал:

намекнул, что нет хозяйки и в комнате, даже тарелки вносит мужчина.

— Заказал портрет, делают, — белозубо засмеялся молодой хозяин, и все засмеялись. Дубовик — тоже. Асия поднялась с пола и ушла.

Пришлось уехать: в дом она не вернулась, не помогли никакие уговоры. Труда стоило уговорить ее доехать до канала на «Москвиче» хозяина. Но больше всего она рассердилась на Дубовика — он понял сразу. Целый день не разговаривала с ним и «факиром», сидела возле сурового Калистратовича, он ей разрешал вести катер, и никого больше для нее не существовало.

Амударья встретила с восточной пышностью: камыш — совсем оранжевый, предвечернее небо — темносинее, афганские горы — фиолетовые. И все такое четкое, даже телеграфные провода, повторенные на воде.

— Рерих, — радостно сказала Асия.

Калистратович, уступив «штурвал» Дубовику, фотографирует. Дубовик догадался подарить ему свой «Зенит», и с тех пор, как этот сердитый парень заболел первой страстью фотографа, катер ведут пассажиры.

По судоходному рукаву канала Дубовик вывел катер к реке, выбрался на середину Амударьи, вспученной и мутной от стремительности и полноводья. Кажется, что у берегов она ниже, а ты со своим катером на высоком гребне и вот-вот сползешь на край...

Да, видимо, только такая река и возможна в пустыне.

— Каждый год, — говорит «факир», блестя своими округло черными глазами, — она то вправо, то влево бросается. Успевай-поспевай за ней! «Джейхун» — бешеная. У нее названий, как и старых русел.

— А почему у тебя только одно имя? — спросил Дубовик у Асии.

Внезапно закат перегорел: потемнело, погасло небо, и сразу будто накинули брезент'на восточную ковровую роскошь.

— Есть тут у меня один хороший друг... — сообщил «факир» и поспешил добавить: — Без всяких пережитков.

15

— Еще не изучена до сих пор психология высокого роста.

— А она особенная?

— Высокому человеку легче быть самонадеянным, но труднее — трусом. Даже когда ох как хочется!

— А хочется?

— Бывало. Бывает...

— О, Дубовик, мне в тебе это даже нравится: всетаки не одна логика!

Возвращаясь из дальней дороги, всегда ждешь новостей. Сразу повезло: в аэропорту увидели Цыганкова. Спускается по лестнице из ресторана и орет, как в пустыне:

— Приехали! Салют!

Пользуясь случаем, целует Асию, пялит на нее веселые цыганские глаза. А она и правда еще больше похорошела: похудевшая, с отдохнувшими глазами.

— Что нового? — переспрашивает Цыганков. — Общий друг наш принимает участие в выработке нового правописания. Мягкий знак уже исключил из всех «изьмов».

— О господи! — взмолилась Асия. — Они опять про своего Грая.

16

— Сейчас ты умоешься. Водичкой. Оденешься, возьмешь свои певучие браслеты, и мы пойдем и станем: ты — женой, а я — мужем.

— О чем ты, Коля?..

— И ты будешь спокойная, и будет хорошо. Слезы? Ничего не понимаю.

— Коля, милый, ты и правда ничего не понимаешь!

Я хотела этого и так хотела сына. И теперь... Но еще больше я боюсь, что уйдет то, что есть. Тебе кажется, что уходит? Да?

— Теперь уж и совсем ничего не понимаю.

— Я баба, Коленька, обыкновенная баба. Хотя и уходила, с такой самоуверенностью и злостью всегда уходила от этого. Чтобы только не платить за сомнительное бабье счастье правом быть такой, какая есть. Видишь, тоже бабья практичность, хотя и наизнанку. А ты мне виделся добрым, умудренным жизнью Жан Габеном. Который все, все поймет. С которым можно быть такой, какая есть, потому что он все время остается на месте, куда бы тебя ни отнесло. Я ведь так устала от самой себя. Но и менять это на сытую налаженность жизни многих моих знакомых не могу. Я видела в тебе цельность, устойчивость, но добрую, понимающую. Прости меня, ведь это не был только расчет. Нет, я и тогда уже любила. Я знаю: шарик любит ниточку, которая удерживает его. За то, что удерживает, хотя так хочется взлететь туда, где его гибель, и особенно за то, что ниточка такая тоненькая...

— Ну-ну, давай наговаривай на себя. Давно не слышал.

— Я не наговариваю. Я ведь женщина, хотя и не умею, как должна бы женщина, говорить только в свою пользу. Во всяком

случае, до свадьбы должна. Но вот и я, ведь не говорила прежде, когда это расчетом было. А теперь я люблю, только люблю и говорю, потому что теперь я другая. И ничего не хочу, о чем мечтала та, прежняя.

— Почему же плачешь?

— Не знаю; Я не знаю. Ты мне еще раз скажешь то, что сказал сегодня?

— Сказать?

— Да.

— Только кто из нас больше рассудком живет?

— Ты вернул ту, какой я была сто лет назад. И я хочу быть только той. Чтобы ничего больше... А знаешь, тогда на партизанской встрече... Это я возненавидела себя за свои расчеты и решила расшвырять все кубики. Оттого, что сама себе противной была, и ты мне таким же показался — грубым, чужим, плоским. Прости, пожалуйста. А когда я люблю, я даже себя люблю...

17

После щедрого на краски бабьего лета зима поразила и обрадовала простотой: белое и голубое.

Дубовик сидел за столом, писал и ждал. Он знал, что раз первый снежок — Асия сейчас прибежит. Такое она обязательно разделит с ним. Он уже ее знает.

Открыла дверь своим ключом, вошла, потерлась носом, поласкала его затылок нежным холодом.

— А знаешь, кто мне встретился на проспекте? Тот художник. Из сна. Помнишь?

Дубовик почему-то не помнил. Асия рассмеялась:

— Ты всегда вскидываешь плечами, будто ношку поправляешь. Идешь — поправляешь, стоишь — поправляешь.

— Жена это называла: «Почесываешься». Так какой еще художник?

— Ну что в аэропорту тогда. Иду сейчас к тебе, а он остановил и сам растерялся. Неловкий, вроде тебя. Вернулся с гор. Приглашает нас посмотреть его работы.

— Ага, нас...

Асия, не снимая свою серую зимнюю шапочку, которая держит ее новую — «узлом» — прическу, и ворсистое пальто, села на диван, взяла в руки медвежонка (пока лишь он переселился к Дубовику) и стала шептаться:

— Аюшки, милый, ты умный, все понимаешь. А папа — дурак.

Заставила «папу» рассмеяться. Бросила мишку. И вдруг сказала:

— Господи, что я вчера видела! В аптеке. Вбежала женщина, с узелком, одета по-летнему. Никого не замечает, просит, зовет заведующую. И как спасительницу молит: «Морфий... один... кончился!» Ей про врача, рецепт, а она — ужас какой! — на колени. Но видел бы, какой она вышла! Румянец, счастливая — уже человек.

— Я видел. У некоторых после госпиталя это остается.

— Как она испугалась... «Кончился! Кончился!»

— Завтра утром уезжаю.

— Ну вот!

— Надо, Асенька. Назвался груздем, значит, надо.

Ехать Дубовик собрался в свои края. На этот раз от телестудии. Предложили сделать фильм о бывших партизанах. Он согласился, тем более что долгов поднабралось, как никогда. По-настоящему увлекся, когда пришла мысль в центре всего поставить деревенскую женщину, которая даже и не подозревает, как много сделала она...

18

Вернулся Дубовик через три недели. Намучился и намучил режиссера, но того, что виделось, кажется, не получится. Режиссер — молодой, но уже многоопытный — увлеченно обучал героев фильма говорить, держаться перед кинокамерой. А Дубовику казалось, что в неумении-то, в незнании заключено все...

Побывал и в городишке, где жил до войны. Если попадался телефон, звонил Асии. Очень забавная она была, когда уезжал. С такой трогательной, почти детской серьезностью и так неумело собирала его. Даже заплакала. Как солдатка.

После разлуки они словно не сразу находят друг друга. На этот раз Асия даже попросила виновато:

— Мне надо снова привыкнуть. — И пожаловалась: — Как только ты уезжаешь, мне начинает казаться, что уже уходишь, ушел. И что я ухожу.

— Спешишь пройти?

— Не говори так! Как ты можешь легко об этом? Для меня, как для той женщины, ужас в этом слове... «Кончился!» Коля, милый, не уходи от меня.

— Ну о чем ты, глупая?

— И не позволяй мне.

— Не позволяю!

— Я ведь только и живу, когда во мне это. А потом — ничего. У тебя хоть партизаны твои, хлопцы, разговоры ваши, Таня... А у меня

или один кто-то во всем мире, или вовсе никого. Когда-то меня такое не пугало. Хватало и того, что во мне. Казалось, хватит.

19

Она вышла из дому неожиданно для самой себя. Пять минут до того она и впрямь хотела остаться и писать. Но первая же строка показалась ей невыносимо искусственной, чужой...

И потом все происходило как-то незагаданно. Она так радовалась, что приехал Коля, и ей так обидно стало сидеть одной, захотелось позвонить, найти его, пожаловаться.

Шла по слегка втоптанному снежку, смотрела на голубоватые тени от строящихся домов и тех, что скоро снесут, поднимала глаза на солнце, и тогда даже снег становился темным. В памяти — такой же чистый, но жаркий день: она с обрыва спускается к речке, бежит с беззвучным криком по белым, выжженным солнцем камням, и горячая твердость их сладкими толчками повторяется в грудях. Последнее время она все чаще возвращается к прошлому, и ей уже нравится вспоминать, тогда как раньше не хотелось, потому что больно было многое вспоминать. Самое удивительное, что и нынешнее порой кажется только началом, как началом казалось все в мире, когда она бежала по белым камням.

Сестренка пишет, что под обрывом уже снег, но все еще краснеют ягоды калины. И еще, что все ребята — дураки! Очень это знакомо. Как-то у нее все сложится? Неужели все, о чем я знаю, что пишу ей, ничего не значит, и она через все пройдет сама, не слушая меня, как я никого не слушала да и не хочу слушать? Но ведь это я, а она еще такой ребенок. И такая красивая. Ей будет труднее, если она не поймет сразу то, что я понимаю сейчас. Что не все можно вернуть, что ничего вернуть нельзя и все надо с самого начала. Жизнь ничего не прощает. Но я ведь счастлива. Особенно сегодня. Такая белая чистота везде. Интересно бы все же посмотреть, как он рисует горы. Глупый аю, неужели ты подумал, что мне интересно что-то, кроме гор, какие они у него? И этот — тоже дурачок: «Четыре двойки, легко запомнить». Она проучила бы его еще не так, если бы, сказав свой телефон, он сам не смутился, не испугался. Уходил, как приговоренный к изгнанию. Вот бы удивился, если бы Асия вдруг пришла смотреть его горы. Как тяжело висели его узловатые длинные руки, когда уходил. И такой нескладный, а лицо крупное и длинное и очень бледное (такое называют «лошадиным»). Но глаза умные и смотрят из темной глубины. Как заморгал рыжими ресницами, тяжелыми

веками, когда она резко сказала, что разучилась запоминать телефоны...

Стеклянная будка краснеет на снегу. Перейдя улицу, Асия направилась к ней. Перебрала монеты — двушек аж четыре! По очереди набирала номера телестудии, редакций, прикидывая, где может быть сейчас Дубовик, и уже сердясь на эти его глупые хождения, бесконечные сидения и говорения. А обещал поехать с ней туда, где снег, один снег и ели...

Трое парней увидели ее, улыбающуюся в стеклянной будке (с Цыганом разговор), тут же подошли и постучали, мол, телефон нужен. Асия сердито махнула рукой и отвернулась. Монеты все, а Дубовика не нашла. Привычно проверила пальцем в выбрасывателе. И правда — вывалилась одна.

Вот, наверное, удивится и обрадуется. Так просто она может изменить мысли, настроение другого. Не на бумаге, а в настоящей жизни. Жизнь так властно обходится с тобой, а тут ты ею распоряжаешься.

Асия вздрогнула: автомат, будто обрадовавшись, тут же глотнул монету. И сразу — голос. Незнакомо грубоватый, раздраженный. Ах так! Сейчас ты сделаешься другим.

— Вилькицкий вас слушает, — повторил сердитый голос.

— Неужели — Вилькицкий?

— Кто это? Ой, это вы! Ради бога, не исчезайте, не вешайте...

Асия сердито пояснила:

— Мне надо посмотреть ваши горы.

— Где вы? Я сейчас приеду.

Асия сказала. Вышла из-телефонной будки, и вдруг все показалось не таким забавным, как минуту назад. Рассердилась. На Дубовика. Потому что он обязательно не так поймет. А она ему, конечно, скажет, что ходила смотреть. Одна, раз с ним никуда не выберешься.

Резко затормозило такси. Вилькицкий, в черном свитере, выскочил и остановился, растерянный: холодное и неласковое, наверное, лицо у Асии. Пожалуй, лучше не ехать. Да ну вас всех!.. Села в такси.

Потом поднимались по сухой скрипящей лестнице, и лицо Вилькицкого было несчастно оттого, что лестница такая крутая и высокая. В мастерской — захламленной и холодной — встретил их парень: розовые щечки в овальной рамке бакенбард. Молоденький «Ноздревчик» не понравился Асие, и все недовольство собой, Вилькицким, Дубовиком она тут же перенесла на него.

— Сходил? — спросил мимоходом Вилькидкий у «Ноздревчика». Тот показал глазами на бумажный сверток. И смотрит на Асию так, будто и ему и ей одинаково смешно, как суетится Вилькидкий.

— Я вам покажу те, что немного удачнее других, — предложил Вилькидкий, заметив, что Асия рассматривает картоны, стоящие на длинных скамьях и лежащие стопками под ними.

Цвета чистые — это Асия отметила сразу, и это ей понравилось.

Вилькидкий одни картины ставит лицом к стене, другие, наоборот, поворачивает к Асие. Но и те и другие он как бы заранее не любит от мысли, что они не понравятся гостье. Быстренько убирает, швыряет к стенке, если она не протягивает руку.

Любит оранжевый и фиолетовый, и очень угадывается Рерих в этих горных хребтах из чистых осколков спектра. Но городские пейзажи чем-то удивляют: листья на осеннем клене яркие, большие. А это — затмение солнца. Асия протянула руку, чтобы не бросал. Ослепительная корона на черном солнце, но городская улица — обыкновенная, вечерняя: фонари, деловито спешащие люди, две женщины в красных с черными складками «болоньях» о чем-то судачат.

И только девочка — личико в нимбе красных волосиков — смотрит на погасшее солнце.

Слишком заострено, но что-то есть в этих двух ликах: солнца и девочки...

Зазвонил телефон. Подошел «Ноздревчик», послушал, глянул на Вилькицкого выразительно и чуть насмешливо. Тот сразу что-то угадал:

— К черту. Занят. Нет меня.

«Ноздревчик» передал это почти буквально.

— Все-таки тебя, — сказал снова.

— Да, я, — грубо, хотя и тихо, сказал в трубку Вилькицкий. Он сейчас ненавидит все, что может не понравиться Асие. Но ей не нравится именно его голос сейчас. Хотя, собственно, какое ей дело?

Вилькицкий слушает, а у колена держит и вращает на уголке картон: круглолицая девушка в черной шубке стоит среди снежной белизны, держит красный ломоть арбуза и улыбается красным ртом. Фу, безвкусица!

«Ноздревчик» смотрит на картон и на Асию так, что она подумала: это как раз та, которая сейчас звонит.

— Нет. Я же говорил. И говорю снова. — Вилькицкий бросил трубку и картон, зло глянув на «Ноздревчика» и растерянно — на Асию.

— Смотрите сами, что хотите, — сказал почти в отчаянии.

— А это — странно! — сказала Асия про картон, стоящий в самом углу. Ночное небо осыпается на вершины елей белыми и черными хлопьями, а на заднем плане, как повторение черных елей — телевизионная вышка с тревожно красными огнями.

— Можно вам подарить? — обрадовался Вилькицкий. И вдруг глянул по-художнически пристально: — Лицо у вас и такое детское и одновременно древнее. Можно написать вас?

— С арбузом?

Самой стало противно, что сказала это. Будто ей не все равно.

— Вы как хотите... — бросился на выручку «Ноздревчик». Достал из свертка темную бутылку. Вилькицкий глянул на него с ненавистью. Лошадиное лицо с глубокими глазницами такое несчастное. Асия разрешила себе улыбнуться, ей вдруг стало его жалко. Села за грубо сколоченный столик, измазанный, расцвеченный, как старая палитра.

За окном засигналила машина.

— Вы не отпустили такси?

— Да, я не знал...

— Раз так, едем в лес.

Асию уже увлекло это ощущение полной власти над голосом, глазами, жестами другого человека. И уже хотелось, чтобы он не был спокоен, раз неспокойна она сама. Это бывало и прежде, с Дубовиком, но там постоянная боязнь не найти, потерять. А здесь — легко. Боится только другой. И весь устремлен следом. Вот сейчас Асия протянет руку к перочинному ножику, и его рука рванется туда же, опережая. Про себя улыбнулась, когда именно так и произошло. От излишнего старания узловатые большие руки ничего не могут, не поспевают. Длинные пальцы ломаются, сжимаются в кулаки, чтобы не дрожать.

— Я еще не видела зимний лес.

Дубовик будет звонить на работу. Ей сегодня к двенадцати. Но она только посмотрит, как стоят в снегу деревья. Только посмотрит.

Когда сходили вниз, Асия спросила громко:

— И он поедет?

Вилькицкий сразу повернулся к «Ноздревчику» и сказал:

— Ты не поедешь.

— Да?

И в этом «да» было все, чем можно ударить женщину.

— Заткнись! — сказал Вилькицкий.

— Да ты одурел совсем!

Асия знает, какого врага она сейчас получила в этом «Ноздревчике». Ну и пусть. Она и не собирается когданибудь появляться здесь.

Вилькицкий сидел в машине молча. Асия смотрела на домики окраин, на белые поля и далекую черту леса, но все время чувствовала на себе его тревожный, как у пугливой лошади, глаз. Открыла сумку, достала сигареты. Спичек нет. Сейчас рванется шарить по карманам. Но и у него нет.

Шофер, который вроде занят только дорогой, сам подал спички через плечо. Асия еще раз заглянула в сумку, чтобы убедиться, что есть деньги. Она сама заплатит. Представила, как расстроится Вилькицкий. Бедный, к нему и южный загар не пристал. «Белая лошадь», — незло обругала его про себя.

Рамка приближающегося леса становится все шире, а снег то ослепляет белизной, то словно тень упадет с чистого голубого неба.

Въехали в лес. Асия попросила свернуть на случайную дорогу. Ели тяжелыми медвежьими лапами гладят верх «Волги». Сказала остановиться.

— Давайте еще проедем, — попросил вдруг Вилькицкий, — я так боюсь, что снова исчезнете. Хотя бы пообедаем...

Назвал город, в который ездил Дубовик, когда заболела дочка.

— Хорошо, — неожиданно согласилась Асия. Ведь это Дубовика город.

20

Дубовик вначале звонил на работу. Вечером поехал к Асие домой.

Открыла дверь Полина Петровна.

— Ее нет. Да вы зайдите.

Полина Петровна очень постарела, а глаза стали еще чернее, пристальнее. Она сразу поняла, что Дубовик неспокоен.

— Ася — трудный человек. Но хороший, даже редкий. Вы согласны? С Димой — с' Дедом, как вы все его называли, — у нас до развода доходило, когда начинали жить. А когда случилось то, все лишнее обсыпалось. Да, приходил сюда Грай. Знаю, что его интересует — письма! Догадывается, что остались дневники. Ах, как он хочет уверенности.

— Народу хочет имя свое честное оставить. Основная теперь его забота. Ну, был доносик, другой, третий!..

— Показать вам письма?

Дубовик осторожно перебирал потертые бумажные лоскутки, вчитывался в карандашные строки, а Полина Петровна поясняла: «Это, когда я еще здесь оставалась...», «Это, когда второй раз».

Самые первые письма — крик недоумения, несогласие даже допустить, что все не выяснится, не будет тут же исправлено.

Последние — как бы даже спокойные, вполголоса: про посылку, про здоровье Полины, советы, чтобы не доверялась разным типам, которые могут прийти к ней и дурить голову, что были с ее мужем... «Прости, гаснет топка, подброшу дровишек и снова сяду разговаривать с тобой. Ну вот — освободился. И перечитал твое письмо. То место, где на перо попал волосок: я так вижу тебя в этом месте, как ты снимаешь волосок промокашкой, вижу глаза твои, далекие, большие...»

— Ася прочла их и, глупая, позавидовала мне.

Да, Асия... Она, конечно, уже у него: открыла комнату своим ключом, сварила себе кофе, сидит на диване и сердито смотрит на дверь, на стол с бумагами, на телефон. Ну и пусть смотрит, раз она такая!

— Ей кажется, — продолжает Полина Петровна, — что мы с Димой написали свою жизнь вопреки всему.

Но разве хуже, когда легче? Я не очень их, теперешних, понимаю. Иногда пожалеть готова. Бесплодно все это. Или я не права? Столько чувства у них за какой-то бесчувственностью.

Полина Петровна вдруг вспомнила:

— А знаете, как она с Граем побеседовала. Потому что я молчала. Он пришел, изображая старого друга дома, а я молчу, сжалось у меня все от ярости и обиды. Ася с любопытством смотрит на него, на меня, улыбается, негодная. Но Макар без подарков в чужой стан не ходит. И все он знает. Можно подумать, у него дома «дело» на каждого. Вдруг предлагает Асе. Знаете, этак заботливо, отечески, намекая на доброе отношение к ее знакомому, к вам то есть, хотя, мол, немало он натерпелся от своих бывших студентов. Одним словом, почему бы Асе не попробовать поступать в аспирантуру — на его кафедру? А она, чертовка, и попросила его, просто так, обыкновенно. Говорит ему: «Застрелитесь, а!» Видели бы вы его глаза!

— Знаю я эти глаза. Откуда бы ты ни шел к трибуне и где бы он ни сидел, всегда увидишь их. Испуганные и беспощадные. Такие были, точнее, потом стали у молчаливого, незаметного плотника, жившего в городке, в котором я когда-то, еще до партизан, жил. Плотник тот, неожиданно для всех, знавших его, записался в полицию. Бегал мимо соседей, пряча круглые, птичьи глаза. Выслуживался вроде не очень. А потом убил незнакомого человека и еще женщину и ребенка. Тоже неожиданно. Шел из деревни крепко выпивший, увидел человека на поле, заставил его подойти, спросил

аусвайс, потом зачем-то погнал впереди себя. А тот — бежать. Выстрелил в спину. Оглянулся: женщина, окучивавшая картошку, стоит, смотрит. Пошел к ней. А за кустом мальчишка прятался — он и его. Но все равно стало известно, что убил, что руки в крови. Вот тогда он и показал себя. Помнятся эти сумасшедшие, испуганные и беспощадные глаза человека, для которого все люди сделались опасными свидетелями, обвинителями...

Было за полночь, когда Дубовик приехал к себе. Света в окне нет. Наверно, уснула.

Но комната была пустой. Как никогда пустой.

Дубовик вышел на улицу — пустынную, морозную.

Курил и ждал. Если она приедет к себе домой, Полина скажет, что ждал, и она тотчас поедет к нему...

Прошел час. И еще час. Постепенно что-то менялось в Дубовике. Будто взмутилось самое дно — прошлое и настоящее перемешалось. Думал об Асие, а перед глазами стояла первая крупная ссора с Ларисой — ее вдруг враждебное лицо, глаза, в которых он читал и свое: «Ты не только не самый близкий человек, но нет в мире более чужого, чем ты, потому что я знаю в тебе все до последней мелочи, и это все теперь чужое».

Думал об Асие и, будто назло кому-то, помнил все, что она сама когда-то наговаривала на себя. Да, да, он для нее был лишь бухтой на время шторма...

Ушел в дом, но тут же, будто напугавшись себя такого или пугая себя, стал обзванивать больницы, отделения милиции. Незнакомым ночным голосом описывал внешность Асии: прямые, падающие волосы (мог бы добавить, что они у нее, как и все, удивительно меняются, разные бывают: и радостные, и печальные, и как бы живые, и как бы мертвые), лицо чуть скуластое; не очень высокая, но кажется, что высокая...

Звонил и знал уже правду.

Асия приехала, когда уже посветлело окно.

Открыл дверь.

— Извини, пожалуйста, ключ мой не знаю где, — сказала, войдя, овеянная ночным холодом. Будто ключ — сейчас самое главное. Нет, вспомнила, что Дубовик ждал.

— Ты ждал. Прости, пожалуйста.

У нее все еще далекие глаза, какая-то удивленная улыбка. И словно не чувствует значения своих слов, не замечает, как дико все звучит.

— Домой заезжала? — И его слова тоже нелепые.

— Нет, я всю ночь ехала. Яркий коридор — и я в нем, сколько ни еду — он передо мной, впереди... Ты ждал? Знаешь, а я была в твоем городе.

Сбросив пальто, сняв ботинки, забралась на диван.

— Ты, конечно, рассердишься, — смотрит, как на больного, — я ездила с ним.

Дубовик молча курил. Старый муж, грозный муж! Черт бы все это побрал!..

— Я не думала, когда выходила, что позвоню ему, даже поеду. Искала тебя, искала...

— Импульсы.

— Ты не сядешь здесь? Какое у него лицо было, когда я приказала ехать прямо сюда и сказала, что к тебе.

— Значит, теперь я счастливый соперник.

Асия вдруг испугалась.

— Я почти не помнила про тебя, когда ехала, — говорит, а глазами просит защитить ее от чего-то, — совсем не помнила. А теперь — только ты, и ничего больше.

— А тебе не кажется, что ты себя не пишешь, а просто размазываешь? Притом с удовольствием.

— Хорошо, что мы не поженились. Правда?

Смотрит с отчаянием, ждет, что он скажет. Он недобро промолчал.

— Я так обрадовалась, когда ты приехал, так ждала твоего возвращения!..

— И потому уехала с другим.

Ух, как это прозвучало! Чем не сцена с Ларисой?

— Да, потому. Не могу объяснить, но так хорошо, светло было во мне, что ничто не казалось плохим.

Дубовик решил поставить кофе, чтобы дотянуть как-то до утра. А она, пока возился с перегоревшей плиткой, уснула, положив пальто на ноги. Что-то такое детское и жалкое в ней, спящей.

Утром проводил ее на киностудию. Все было вроде как обычно. Только выходя из такси, она виновато спросила:

— Позвонишь?

Он не позвонил. И оттого, что не позвонил, вдруг почувствовал в себе еще более упрямую обиду.

Вечером, как бывало, собрались мужской компанией у Рикардо. Давно Дубовик не встречался вот так с хлопцами, возможно, потому, что даже их доброе, чуть ироничное участие выглядело грубым и лишним, когда это касалось Асии.

Цыганков, «чтобы ввести в курс», прокрутил для Дубовика магнитофонную ленту с речами и тостами, обращенными и к нему, Дубовику.

— Видишь, не забывали, — успокоил Цыган. И сообщил: — Вертолет с повестки дня снят. Хватает, слава богу, других тем.

Это он про Осипа и Рикардо. Но Осип явно не настроен на долгие абстрактные споры. Он угрюм и ироничен. Рикардо — прежний. Его интересует, какая цена будет человеческой личности, если плотность на земле станет китайской или даже выше. Убежден, что ближайшие полстолетия будут самым серьезным в истории экзаменом человеку и человечеству: все сошлось, все затянулось одним узлом.

Да, во все времена людям казалось, что их узел самый тугой и невыносимый. И всегда соблазн был разрубить его одним ударом. Но ведь никогда у них не было этой проклятой бомбы. Человечество имело историческое право на ошибки. Те'перь это право у него отнято. Как у сапера. Впервые люди получили власть над жизнью и смертью планеты. Те самые люди, которые так трудно и медленно изменяются. Римлянам и карфагенянам казалось, что смысл истории — в их главенстве, в их славе, мощи. Будь у них столько этих бомб и реши они с их помощью утвердить себя — не было бы Бетховена, Толстого, человека в ракете... И памяти о самом Карфагене и Риме не существовало бы.

И не было бы той румяной от заходящего солнца слезы пятилетней Тани: «А завтра будет день? Такой же — будет?»

Ее тогда забрали в дом от веселой прохлады под соснами, от подружек, уговорили, заставили поспать, очень ей не хотелось, но потом разоспалась и только к вечеру открыла глаза. Глянула на окно, на прощально краснеющий диск солнца, и такие тяжелые, просвеченные закатом слезы посыпались из ее глаз:

— А завтра будет день? Такой же — будет?

21

— О, картина! Это его? А Полина где?

— Уехала к сестре. В Ленинграде сестра у нее.

— Что тут изображено? Ага, плевки в рождественскую ночь.

— Коля, ты умнее, когда добрый.

— Ах да, я — добрый. Забыл.

— Ты стал пить? Что с нами, Коля?

— С тобой что?

— Нет, с нами. Его нет, понимаешь, нет! Есть мы. Но что с нами?

— Все очень просто. Ты прошла сквозь одно и хватаешься за что-то другое, как не умеющий плавать.

— Ты не смей говорить, что я не люблю тебя... Господи, у меня каждая клеточка болит! Не звонишь, застать тебя не могу, он ищет, поджидает меня, смотрит, проклятый, как на икону. Никто на меня так не смотрел. Перед ним я не побитая жизнью дезчонка, а во всем права, как богиня какая-нибудь.

Говорит про богиню, а сама сидит на тахте сжавшись, больная, изломанная, лицо погасшее, даже волосы будто полиняли.

— Зачем ты толкаешь меня к нему?

— Ну, знаешь!..

— Для тебя правым быть важнее, чем я... Разве ты не видишь, какая я? Неужели ты не понимаешь, что нельзя меня с этим всем рставлять одну?

Дубовик промолчал, недобро, чужой всему.

— Проклятые, что вы со мной сделали!.. — сказала она, глядя на Дубовика и — сквозь него.

22

Да, такого он себя знает. Помнит. Отойти в сторону, чтобы, не навязывать себя, не насиловать чужую волю, чувства, а сам — недобрый, тяжелый. Будто в нем еще кто-то. Это уже было.

И даже знает, как бывает потом. Где-то на Урале сейчас живет та, которую помнит девяти— и десятиклассницей: с прикушенной всегда губой и глазами ребенка, который не знает, за что его наказывают. Она бегала от парня, мрачно-бледного от влюбленности, и, как могла, показывала Дубовику, что не нужен ей этот парень. И чем отчаяннее показывала, чем больше Дубовику хотелось быть возле нее, тем крепче держал он в себе обиду неизвестно на кого. Но ведь это двадцать, а не тридцать шесть, Есе это было от нелепой его тогдашней застенчивости. И после было то, о чем никто не знает: уже тридцатилетний, в неуютной районной гостинице, от невероятно острой памяти плакал...

Вдруг понял, что Лариса, что все так перекрутилось в жизни лишь оттого, что не умел, что не сумел встретить ту, настоящую любовь...

Но ведь тогда еще не знал, как бывает потом. А теперь знает. Так почему же?.. И неужели обязательно казнить другого (и себя тоже) только потому, что ты это можешь, что вы обрели друг над другом

такую власть? Да, легко говорить, что человечество начинается с того, кто рядом. И как не просто всегда быть человеком для того, кто рядом...

Асия открыла дверь сразу, будто ждала, знала, что он вернется. Спросила только:

— Вино? А впрочем...

Старательно и долго протирала и расставляла чашечки, тарелки. Показала телеграмму, в которой ей сообщают, что подбор актеров, пробные съемки начинаются уже.

— Мой бывший преподаватель. Сам невезучий, а все старается, чтобы мне повезло. Удивительно даже, что вдруг пошел его сценарий. Как ты считаешь, могла бы я сыграть роль девушки с гор?

Ставила чашку и тронула его руку. Он погладил ее пальцы.

— А я тебе письмо написала.

— Покажешь?

— Ты ушел, а я ничего, что хотела, не сказала. Села писать тебе, а ты вернулся...

— Не уходить мне?

— Не уходи.

...Она повторяла и повторяла его имя, старалась и не могла дозваться до чего-то в нем, в самой себе:

— Коля... Коля... Коля... Коля...

Обхватив, не отпуская его голову, прижимаясь мокрым от слез лицом, она звала, рыдая по-бабьи.

Потом, казалось, совсем уже успокоившись, сказала:

— У тебя глаза такие вымытые.

Она часто любила говорить это. И всегда звучало, как впервые.

Теперь прозвучало неумелой цитатой, повторением. И каждый заметил, что и другой это почувствовал.

— У меня голова будто к чужому телу приставлена. Господи!..

23

— Ходил сегодня на вокзал. Встречал знакомую, проездом была. Удивительно некрасивое и удивительно симпатичное существо была эта Аня, когда учились в институте. И звали-то мы ее: «Ваня». Дожидался я поезда, и вдруг почудилось, что это ты возвращаешься. Уехала, а теперь возвращаешься.

— Это хорошо, что ты так подумал. А знаешь, я готова позавидовать твоей некрасивой знакомой. Как ты о ней ласково вспомнил. А у меня всегда: сначала — все, а потом — ничего. Видно, я сама виновата.

Асия, с которой они не виделись неделю, вдруг приехала к нему домой. Не снимает пальто, глаза какие-то новые.

Села перед Дубовиком на корточки, смотрит снизу.

— Странно все, правда?

— Что?

— Что мы теперь с тобой, как все люди. Смотрим, говорим. Тебе не странно?

И вдруг:

— Если бы ты знал, как я не хочу, чтобы ты уходил совсем!

— Что значит «совсем» или «не совсем»? Это или есть или нет.

— Мне хорошо с тобой было, ты столько вернул мне. Мне ли жалеть, что это было? А я жалею. Что не осталось у нас так, как было с самого начала. До всего... Я знала, боялась, что пройду и сквозь это, сквозь тебя. А мне так хотелось, чтобы не уйти и чтобы ты не ушел.

— Как тебе легко это: резать по живому, только бы заглянуть в себя!

— Легко! Знал бы ты...

24

— ...Оказывается, я не верила, что меня можно любить. И с тобой не верила. Ты никогда не был со мной весь. А тут увидела. Глазами. Даже смешно, когда так любят. А нам, женщинам, оказывается, важнее, чтобы нас любили.

— Чем?..

— Чем мы.

— Вот уж не думал, что именно ты это скажешь.

— Что и я баба? И что мне скоро тридцать? Я и это, Коленька, уже помню. Мне иногда хочется, чтобы полюбил меня самый некрасивый. Но чтобы быть абсолютно уверенной.

25

Уже из аэропорта она позвонила.

— Я уезжаю.

— Асия? Куда «уезжаю»? Ты где?

Она нажала на рычажок, испугавшись, что Дубовик приедет в аэропорт и все перестанет казаться таким решенным. Она рассчиталась с киностудией. Чемодан, в котором поместился и мишка, увезли уже к самолету. Полине пообещала летом приехать. Денег на билет у нее одолжила.

Вилькицкий хотел лететь с нею, но она не позволила: она ведь домой, а потом, возможно, сниматься. Потом позовет его. Если это ей

надо будет. Послушно уехал из аэропорта, когда сказала, что сейчас сюда приедет Дубовик.

Ей всегда хотелось и теперь хочется любви необыкновенной. Но, господи, как не хватает ей самого обычного, обыкновенного — надежной человеческой доброты, привязанности! Надежной, надолго. В Вилькицком этого меньше, чем в ком другом, хотя сейчас он такой послушный, преданный. Она уже знает, каким он будет потом. Потому так мало ценит эту его покорность, так неласкова и даже мстительна с ним.

Она всегда так сторонилась примитива: в людях, в словах, в чувствах. И ничего не хотела просить. Ни у кого. Чтобы только быть независимой во всем. Даже бабьего счастья не просила у жизни, даже заставляла себя ненавидеть его, зная, что за него надо тоже платить. Вот и Дубовик — даже он! — потребовал этой платы.

И она улетает. Но на этот раз с таким чувством, что уже она перед жизнью виновата. Потому что не заметила, как, боясь примитива, прошла мимо, ушла от очень простых радостей и вещей, без которых, оказывается, тоже невозможно. Просто товарищ, на которого можно положиться, просто семья, любимая работа, дети... Теперь ей так хочется этого, только этого — простоты. И в любви. Если это возможно — в любви. И если -возможно, чтобы от пережитого оставался не только горький осадок и чтобы память не была такой воспаленной, что больно притронуться...

Асия поднялась по затемненной узкой лестнице — наверное, служебной, — откуда видны вестибюль и входная дверь. Наклонясь над перилами, смотрела, ждала. Дверь время от времени уходит наружу, впуская пассажиров, окутанных морозным паром. Пружина над дверью, наверное, испорчена, поставили еще одну — спиральную. Она то растягивается, то захлопывает дверь. Снова растянулась до предела — Асия смотрит. Нет, не он! И это не он. Скоро объявят посадку. Раз она уезжает и не хочет перерешать, почему так боится, что он не придет? Или это страх, что будет мучиться, как та девушка в пустыне, что пролила утром каплю молока, которую могла выпить?

Хотела уже сбежать вниз, чтобы выйти на улицу, но пружина растянулась: вошла женщина, пропуская впереди себя девочку в белой шубке. Дверь за ними не захлопнулась — вбежал Дубовик.

По обыкновению — без шапки, волосы припорошены снегом. Огляделся и быстро прошел в зал. Вернулся, растерянно постоял и как раз на том месте, где когда-то стоял со своим деревянным ящиком Вилькицкий. Потом так знакомо вскинул плечами и бросился к двери, ведущей на посадку.

Асия спустилась на несколько ступеней, следя за ним. Потом тихонько отступила вверх, когда он вернулся.

Пошел к кассам.

Смотрела на него, мечущегося внизу, и ощущала на лице своем и улыбку и слезы.

Сверху спускаются по лестнице двое в теплых летчицких куртках, что-то веселое ей сказали. Асия отвернулась. А когда она снова посмотрела вниз, увидела лишь растянутую до предела пружину.

Дверь захлопнулась.

Сбежала вниз. Сквозь полузамерзшее окно увидела, как большая его фигура метнулась навстречу такси.

Уехал. На вокзал, конечно.

Асия любит аэродромы. Это — ее мир, пожалуй, даже больше, чем горы и реки среди белых от солнца камней. Особенно такие — зимние аэродромы. Фантастически ровное поле, уходящее не то в степное прошлое, не то в марсианское будущее, ветер косым снежным крылом чертит по каменным плитам, оглаживает ракетообразные тела машин. Здесь так близко над тобой голубое солнечное небо. Даже если все накрыто сплошными тучами.

Пассажиров на самолет всего несколько человек. По трапу поднимается молодая женщина, держа за руку девочку в белой шубке. У девочки на руках — резиново-голый теленочек. Идущий следом лейтенант с очень юной улыбкой потрогал резиновую голову игрушки. Девочка оглянулась, довольная, что ее игрушка нравится, улыбнулась. И женщина смущенно оглянулась.

Раскачивая тяжелый трап, впереди Асии поднялся мужчина с кирпичными щеками, у которого поверх зимнего пальто, как чехол, серый плащ. Он сел у самого выхода. Асия прошла к кабине.

Теперь у нее справа — крыло. Посмотрела и подумала, что когда-либо сошьет себе платье такого серо-стального цвета. Кого провожает этот опоздавший старик? Вид, однако, репортерский: фотоаппарат, берет. Одной рукой трет ухо, второй держит носовой платок и попеременно прикладывает к глазам: к левому, к правому. Мол, не плачу, мороз большой, но внутренне — да. Ага, это все относится к молоденькому лейтенанту.

Там стоял бы и Дубовик. Улыбался бы?

Снова посмотрела на свое крыло. Что там у меня написано? «Ка-ло-ри-фер». Именно такое непонятное слово и должно быть на крыле.

Самолет ожил. Его мягкий гул — это рев и свист там, за окном. Крыло тронулось вперед, белая земля потекла, она все мягче и мягче

ощущается и вот уже оторвалась, осаживается вниз, заваливается, а твое крыло все растет над кубиками домов. Крыло уже огромное — над городом, над всем, что недавно было рядом, было равным тебе, выше тебя.

Асия почти ощущала влажную весомость, в которую мягко вошло «ее» крыло. И вдруг — как в снах, как радостный крик! — такая чистая, спокойная, незимняя голубизна.

Молоденький лейтенант громко и знающе сообщил, что выше небо — фиолетовое, а еще выше — черное.

Асия внутренне сжалась, чтобы уйти от чужого, ненужного голоса.

Но тут же раздался еще один, почему-то обиженный :

— Я не видел, какое там выше, не могу знать.

— Космонавты видели. Не читали разве?

— Я все читаю. Все! — угрожающе сообщил зачехленный.

Асия стала смотреть на молодую женщину, которая объясняет девочке, что внизу не снег, а облака.

Асия улыбнулась женщине. А та — ей. Как счастливая счастливой.

Закрыла глаза. После вокзала Дубовик, наверное, снова вернулся в аэропорт. Сегодня или завтра получит письмо. Что я там написала? Совсем не то, наверно, написала.

Она, кажется, уснула, спала. Когда открыла глаза и глянула в окошко, удивилась, как близко внизу тучи. И они уже не мягкие и белые, а дымно-грязные и шевелятся.

Вдруг они резко потянули к себе самолет, испуганно вздрогнувший. За стеклом стало как в мутном аквариуме.

— Посадка, — понимающе, но с беспокойством сообщил сзади лейтенант. Зачехленного не слышно.

Снова посветлело, но совсем не так, как было над тучами.

Черный потолок туч близко, но он поднимается, уходит вверх, как бы поднимая за собой, навстречу самолету, пятнистую землю.

Из пилотской кабины быстро вышла стюардесса. Посмотрела белыми глазами и сразу села. Уже невидимая за спинкой кресла, сказала:

— Пристегнитесь, немедленно!

Асия взглянула на крыло, спрашивая и не веря. С крыла срываются светлые ручейки. А тело самолета странно вздрагивает, подергивается, и звук непрежний.

— Посадка уже? — громкий, уходящий от правды голос лейтенанта.

Женщина слева занята дочкой и ничего не замечает. Держит бумажный мешочек, чтобы побледневшая девочка не запачкала самолет, который сейчас ударится о землю...

— Что ж это? — пронзительный крик сзади. — Космонавты ваши! Черное небо!

Асия одеревенелыми пальцами держала пряжку незастегнутого ремня. Глаза не отрывались от крыла и того, что внизу, моля, требуя, не соглашаясь.

Кабина закрыта наглухо. Там объяснение всему, надежда, но она закрыта наглухо. С крыла, на котором то непонятное слово, срываются, льются ручьи. Асия ощущает их — теплые, соленые — на губах, даже на руках, сжавших ненужные ремни.

Тошнота подступает к горлу. Не хочу, чтобы, тошнота, раз это последнее! Чтобы ужас, если это последнее!

Они все там, внизу, на милой, надежной земле: мама, сестренки, Дубовик, все... На земле, которая сейчас насмерть ударит!

Зачем только все они так кричат, особенно мама? Зачем, раз это последнее?..

Когда резко стукнуло снизу, качнуло, потемнело и снова все вернулось, пришла вдруг тишина. Земля, ласковая, белая, с черными полосами — рядом, за окном, можешь выбежать к ней, спешащей навстречу.

Санитарная машина мчится через поле, бегут люди. Как их много, бегущих людей. Асия подняла себя из кресла. И вдруг поняла, к кому спешат люди через поле — к испуганно плачущей девочке. Мать все еще прижимает ее, но сама без сознания.

Асия бросилась к ним.

Из кабины, резко открывшейся, вышел пилот, оглядел салон, тронул рукой и точно оживил стюардессу:

— Помогите пассажирам.

— Открывай дверь! — ожил и зачехленный.

— Дальше полетите проходящим, — просто сказал пилот.

26

Слабое неуверенное подрагивание — так вначале дает о себе знать «междугородная».

Дубовик вскочил с дивана.

Спал он почему-то не раздеваясь. Сейчас он услышит, скажет... Когда он носился из аэропорта на вокзал и назад в аэропорт, ему казалось, он знал, что скажет. А теперь лишь голос свой слышит в себе, как это подрагивание в телефоне, а слов не знает.

Сегодня важнее понять, чем сделать. Но разве жизнь кого-то дожидается? У нее свое расписание.

А ведь ты чувствовал, почти знал, что нужна лишь твердая, уверенная доброта, доброта сильного, и все ее придуманные и непридуманные импульсы покажутся ей лишь сном.

На столе, на его бумагах лежит неровный листок с ее почерком. Каждая фраза отчеркнута, как последняя.

Потом новая, внезапная, как все в Асие, писалась и снова отчеркивалась — похоже на кинокадры.

Она уезжает потому, что ей было хорошо с ним...

Она, как оторвавшийся шарик. Но шарик все помнит.

Это хорошо, что он, Дубовик, тогда подумал, что это Асия возвращается...

Почему должно быть «или», «или»? Или — все, или — ничего. Она уезжает, но не хочет, чтобы он уходил от нее...

Звонок в черной коробке загремел.

— Говорите, — строго потребовал женский голос, хозяин гулкого, уходящего вдаль коридора, в конце которого где-то она, Асия.

— Ну, здравствуй, лягушка-путешественница, — услышал Дубовик свой голос.

— Это я... — прозвучало далеко.

— Да, но где ты?

— Как где? Слушай, у меня только три минуты.

Наверно, еще минута пропала у Ларисы, пока Дубовика отпустил какой-то нелепый смех.

— Да перестань! Что с тобой? Не для того я тебя вызывала. Ты не раздумал брать Таню на каникулы?

— Представь себе — не раздумал. Сегодня выеду.

— Я сама привезу. Мне кое-что надо у вас там. Едем с Мишей по туристской в Румынию.

— Это вы молодцы! Я всегда говорил.

— Встречай десятичасовым.

27

— А у нас троллейбусы не ходят.

Это тоже звучит для Дубовика укором, хотя в глазах у Тани одно лишь любопытство.

— Заживем мы с тобой, как мужчины.

— Надо тебе, папа, пальто другое, а то ходишь... Ну что ты смеешься, как маленький!

Прижав к себе головку в черной ушанке, хотел поцеловать.

— Па-па! Люди же!

Дубовик несет чемодан с «приданым» дочки. Ларисы с ними нет: убежала занимать очередь в парикмахерской. Сказала, уходя:

— Срежу их.

Постеснялась сказать: косы. И покраснела оттого, что будто спросила у него. Он не попросил: «Не надо». Хотя хотелось попросить.

— Будем с тобой, дочка, в бассейн ходить.

— И хоть вытру пыль в твоей конуре.

Идет рядом, согласная лишь на счастье, как несколько лет назад соглашалась только на бессмертие. Но разве не заслужила она счастье уже за то, что так радостно отказалась от бессмертия:

«Другим тоже надо!»

Как оно все будет у Тани?..

Да, у тех, кому сегодня десять или шестнадцать — своя судьба. Но какая своя? И они — другие. Но какие? И что ты можешь, чтобы в них было больше умения, таланта делать друг друга счастливее?..

— Ну, папа, ты мне своей рукой идти мешаешь!

Смотрит на белые от изморози и розовато окрашенные солнцем деревья, застывшие вдоль улицы в каком-то зимнем цветении, слушает взвизг снега под ногами, а глянешь на нее, и сразу ответит взглядом:

«Да, это ты и я...»

Потом шли через заснеженный двор, тесный от криков мальчишек.

В коридоре Дубовик услышал, что в его комнате надрывается телефон. Каждый звонок — как последний. Бестолково искал ключ, вошел, схватил трубку.

Назвали номер его телефона и предложили: «Говорите! »

Таня тем временем подошла к окну, посмотрела во двор, взяла книгу.

— Снимай пальто, — напомнил ей Дубовик. А к нему вдруг прорвался, встал рядом очень тихий — там, далеко, тихий — голос:

— Это я.

— Здравствуй.

— А знаешь... Оказывается, я очень хочу жить... Это хорошо, что я улетела, правда? Теперь, со стороны, все проще. И все хорошо, правда?

В ее настойчивых «правда?» — желание, чтобы он чуть-чуть не соглашался.

А он молчал, потому что не соглашался ни с чем.

— Где ты там?

— Нет, я слушаю.

— А я, кажется, снимусь в этом фильме. Правда, хорошо?

— Хорошо, что это тебе нравится.

— Ты все еще надеешься меня к чему-либо приспособить? Ну, а что ты?

— Пришел с вокзала только что. С Таней.

— С Таней! Скажи ей что-нибудь, чтобы я вас услышала.

— Зачем?

— Ты всегда... старался не впускать меня...

— Сними пальто, — громко сказал Дубовик Тане.

Она улыбнулась ему из-за журнала и стала, не вставая с дивана, вылазить из рукавов.

«На стул», — показал глазами Дубовик. А в трубку сказал:

— Оказывается, у меня нет гвоздя для пальто.

— Как все странно. Правда?

— Когда у тебя съемки?

— Скоро. Девушка с гор в большом современном городе. Азия в Европе. Но в сценарии материала для роли мало.

— В себе будешь искать.

— Приходится смотреть на себя со стороны. Наверно, это будет мне полезно. Со стороны многое виднее. А что теперь Таня?

— На улицу смотрит.

— Улыбается?

— Да.

— Мне всегда почему-то хотелось ей пожаловаться. Как маленькая — большой.

— Она и правда большая. Даже боюсь, что такая большая.

Голос, а потом и всякий звук в трубке пропал. Будто и не было ничего. Дубовик долго слушал тупую тишину.

1964 — 1965

ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК

Дети все тянутся к каменному мячу, не опасаясь, что он их больно ушибет. Дети тоже каменные. Фонтан этот и тогда чуть сочился, вот так же прохладно и ржаво поблескивала вода на пятнистых телах девочки и мальчика, играющих в неулетающий и непадающий мяч.

До 15-ти еще больше часа.

На закрепшей от утреннего дождя дорожке сквера уже посветлели, подсохли цифры, которые я чертил прутиком полчаса назад.

А ведь и правда: эти четырехзначные цифры, совпадающие с твоей памятью, биографией, смотрятся совсем не так, как все остальные. Каждая — только твоя. Вот так же миллионы людей говорят и чувствуют: «мой город», «моя родина», и для каждого это личное.

Механически пишешь цифры на земле или на испорченном больничном бланке, но каждая в тебе отзывается далеким эхом. Кажется, что ты их списываешь со страничек собственной памяти:

«1937» — с «красного поля» школьной тетрадки, на обложке которой — размыто серый, печальный силуэт Пушкина;

«1940» — со страничек дневника, конечно же, тайного и, конечно же, с собственными стихами;

«1946», «1947», «1948», «1949», «1950», «1951» — с институтских конспектов, мелко исписанных, пестрых от латыни.

В каждой из этих цифр настроения не меньше, чем в строчках запавших в память стихов. И когда выводишь вот так — цифру за цифрой, ты будто по частотам радиоприемника шаришь: что-то приглушенно меняется в тебе — от резкого к еле слышному, от радостного к тоскливому...

А вот эта — «1964»! — как бы остановила все и все обрушила вниз.

Грохот, рев за этой цифрой. К земле — как с телевышки головой вниз! А ведь, можно сказать, сам этого искал. Но оказывается: сам бросившийся и случайно свалившийся чувствуют одно и то же, когда уже падают, летят вниз головой. Особенно сны, особенно в снах! Об одном, об одном... Сосущая тоска, почему-то в животе — до тошноты. Даже противно, как смыкаются, переходят зловещие, тяжелые сны в тяжелые дневные мысли...

...По-летнему раздетая, но еще по-зимнему беленькая девочка лет пяти, которая, скучая, жмется к коленям полной не то мамы, не то бабушки, смотрит, как я прутиком повторяю на песке и снова стираю

свои цифры. Присела, упершись подбородком в коленки. Поискала и нашла камешек или стеклышко. И тоже чертит, по-птичьи поворачиваясь то к солнцу, то от солнца узенькой спинкой.

Кажется, оценила мою игру.

Да, еще «1962»...

В 1962-м я уехал из этого города, увозя в себе свой эксперимент и все, что здесь со мной было.

Уже четыре раза было 15 мая.

За эти годы многое произошло. Даже «Революция» — только «Малая революция», в биологии. Так оценивают для себя 1964 год приличные биологи и особенно сохранившиеся могикане-генетики. Кончился бессовестный и корыстный подыгрыш наших примитивных ламаркистов нетерпеливым властолюбцам, раздражавшимся от одной лишь мысли, что природа и человек — не воск, что надо считаться с чем-то, кроме своего желания и воли, когда имеешь дело с человеком.

И моя онкология, столько времени бывшая только практикой, стоявшая на одной ноге, наконец нащупывает опору в генетике. Если бы еще можно было вернуть упущенное время, потерянную энергию и опыт.

И главное — людей.

В общем все приходит в норму. И это даже можно было и следовало предвидеть и не расшибать в горячке свой лоб. Можно бы и не расшибать, если бы человек не был человеком, а жизнь не была жизнью.

...Да, четыре раза было 15 мая.

Когда нам было хорошо и даже не верилось, что может быть по-другому, Женя, затихшая после недавней близости, вдруг сказала:

— Давай встречаться каждый год. Нет, это не важно, что мы и так... Но в какой-то день, час, что бы ни произошло, ты обязательно придешь туда. И я. Ну, например, в сквер, к каменным детишкам.

Когда у человека счастье, а потом оно уходит, тогда остается как бы высохшее или почти высохшее русло. Сразу открываются все камни, коряги и ямы на тех местах, где была беззаботная, веселая гладь. И уже знаешь, что будет, а точнее — было за тем поворотом, за следующим...

Тогда же все было неожиданно. И Женю я всякий раз узнавал заново, и даже знакомое всякий раз было по-новому дорогим. Помнишь, как удивился, по-мужски тупо, когда она затихла, отвернувшись к стенке, а рука твоя внезапно ощутила пощипывающее тепло ее слез.

Тихо увела мою ладонь к губам...

Даже привыкать к этому стал — к ее обязательным после радостной близости тихим слезам, не то виноватым, не то счастливым. Пока однажды не вырвалось у нее:

— Улыбаюсь всегда — ты и рад, спокоен. Как же, счастливая! А я — замученный человек. Я согласилась бы умереть, только бы потом увидеть, что тебе по-настоящему больно. Ты в чем-нибудь бываешь весь, без остатка? Может, и бываешь, только не со мной.

.До 15-ти почти час.

Почему я думаю, что она придет? Впервые за четыре года явился и почему-то жду.

Девочка обошла фонтан, поплескала рукой в воде и снова рисует стеклышком на песке, не интересуясь больше дядей с провалившимися висками.

...Дорожка просыхает, цифры, когда их чертишь, теперь заметнее.

«1946».

Да, тогда я ее впервые увидел. В том фантастическом объединенном общежитии медицинского института и университета все началось.

Интересно все-таки, почему я пошел в медицинский, а не в университет? Поступал, помню, с мыслью: «И Чехов был врач». Медицина была, пожалуй, ближе, но и про Чехова помнил. На всякий случай, что ли?

Когда на собеседовании задали традиционный вопрос, я про Чехова, конечно, не сказал. Брякнул: «Медик нигде не пропадет!» Не сказал и про кладбище. А мог бы и про кладбище.

Жить в большом городе у кладбищенских ворот, когда тебе и десяти лет нет — почти такая же удача, как и возле парка. Таинственные уголки, зелень, птицы, даже скамеечки. И музыка. Каждый день музыка. До того привыкаешь к траурным процессиям, что и покойники для тебя уже часть какого-то музыкального представления, в меру печального, в меру торжественного, но прежде всего обыденного. И все покойники будто на одно лицо.

А потом была война, и я увидел, как люди умирают и как невозможно привыкнуть к этому — мертвый, мертвые, которые совсем недавно были такими же далекими от смерти, как ты сам. Почти сном представлялись мне и само детство и тот великий притворщик, мой старый знакомый, что так важно, довольный, как китайский мандарин, плыл к кладбищенским воротам на плечах процессий.

Ночью в городе убили какого-то фюрера, а на рассвете всю нашу улицу согнали за кладбищенскую ограду. Мимо проносились тяжелые грузовики с бледными людьми, а нас держали, прижав к ограде, готовя к чему-то последнему. Ниже на спуске копали ров, из-за кустов видны были желтые броски земли, ударяли выстрелы, а вся наша улица, прижатая к цементу и железу кладбищенской ограды, ждала самого страшного. Тот крик и то чувство, когда люди собраны для смерти, и ты с ними, когда даже лицо матери кажется незнакомым, нереальным — осталось во мне. Я и теперь, попадая в толпу, даже веселую, футбольную, сразу заболеваю тревогой. До сих пор волоку на себе железную ограду, сквозь которую мать с безумным, остановившимся взглядом проталкивала мою голову, когда всех стали гнать к яме. Немец с автоматом, стоявший за оградой на улице, дернулся, чтобы стрелять, но что-то его ужасно поразило. Может быть, руки женщины, вдруг согнувшие, раздвинувшие толстое железо. Немец застрочил, но не в мою голову, а поверху — по тем, кто взбирался на ограду...

Я не оглянулся: бежал, как бы прикрываемый, пригибаемый к земле взглядом матери, чувствовал его, пока не завернул за угол дома, заслонивший меня. Оглянулся и заплакал. Когда уже не мог увидеть ее и когда снова, уже издали, услышал тот смертный крик людей.

До сих пор чувствую последний взгляд, на который не оглянулся. И до сих пор ощущаю, будто чужую, мертвую твердость своего черепа, всего скелета, стиснутых железом, как ни один человек, наверное, не ощущает. Это всегда мне мешало...

Нет сегодня рук, которые бы раздвинули, убрали решетку, внезапно разделившую мою жизнь на две половины. Но все стараюсь, все хочу соединить половинки. Вот и сюда приехал, чтобы хоть сквозь решетку, но посмотреть назад. Не один, на пару со своим Точильщиком путешествую: время от времени он запускает под черепом наждачное колесо, брызжущее, ослепляющее болью... Каясется, и невеселый мой юмор скоро меня покинет. А не хотелось бы. Ведь в конце концов ненасильственная (оговоримся для точности) смерть каждого из нас в отдельности — вещь не самая несправедливая. Чем же еще можно заплатить за подаренную тебе жизнь, если не самой жизнью?

А за что мы не платим? Тут, по крайней мере, без надувательства.

Так что не о смерти бы человеку думать, а лишь о том, как сумел он воспользоваться подарком. Прожил вариант, тот, что прожил. Другого не будет. Можно лишь рисовать себе другой.

И свой можно много раз прокручивать на экране памяти и всякий раз по-другому монтировать. И даже менять героев. И даже заглавного — себя.

Ведь каждый из нас — заглавный герой в киноповести, название которой — жизнь. Это возможно, это дано нам. Из одного и того же материала можно и детектив склеить, и трагедию, и фарс. Вон его сколько собралось за четыре десятка лет, и весь достоверный, «как сама жизнь». Налгать самому себе с помощью такого правдивого материала — легче легкого. Но почему обязательно налгать? Даже у мертвой материи «память» не однозначна, даже там возможны варианты. Где-то недавно читал, что и физические процессы в самом чистом виде заключают в себе моменты случайности, варианты. Спилили дерево — упало. Прежде считалось, что если бы можно было прокрутить фильм времени в обратном направлении, мы бы снова и обязательно увидели вставшее на пне дерево, березу или дуб. А, оказывается, могли бы обнаружить совсем не то дерево или даже не дерево вовсе, а совершенно новую комбинацию, вариант электронов: скалу или гейзер...

Толевая, жестяная, дощатая крыша нашего громадного общежития, похожая на лоскутья послевоенных огородов, хорошо была видна из этого сквера: единственная в той стороне уцелевшая коробка. Оттуда, с пятого этажа да еще с холма, обзор уничтоженного (но порой казалось: отрытого, древнего) города был полный: кирпичные барханы да муравьиные цепочки людей на бывших улицах, и только у самого горизонта зеленые деревеньки окраин.

Когда я, простучав солдатскими сапогами по лестнице, у которой перила были из шершавых досок, а потом — мимо комнат безо всяких дверей или с одеялом вместо дверей, нашел наконец свою комнату и вошел, мне показалось, что она не имеет и стен — такое большое было помещение, и к тому же дым висел над спинками кроватей. Дальних коек и многих жильцов я и не разглядел с первого раза. Дым валил из железной бочки, которая служила печкой. Труба не выводила дым за окно, а почему-то гнала его назад.

Человек десять студентов, все в полувоенном, словно по команде: «Тревога!», пробежали мимо меня, решительные и веселые.

А те, что варили-жарили на бочке, что сидели, лежали на койках и просто на полу с бумагами и книгами, растирая до слез глаза, комментировали во весь голос:

— Замуж хотят!

— Давно пора ночное братание устроить.

Картежники из дымной дали сообщали громко-радостно, отрывисто:

— Сидели мы на крыше!..

— А может быть, и выше!..

— А может быть, на самой на трубе!..

Я нашел свою койку — она, конечно, была у самого порога, — бросил вещмешок и пошел следом за убежавшими. Когда ты появился в незнакомой компании, всегда лучше выйти и потом еще раз зайти — уже не как новичок, более-менее ориентируясь.

Этажом выше возле одной двери толпились наши хлопцы, а из комнаты доносились смех и какая-то возня. Заглянул и я поверх голов: светло, бело, как в тыловом госпитале, от девичьих лиц и от простыней, которыми застланы постели и завешен на стенах гардероб.

А между белых кроватей — от жестяной печки до стены — лежит на полу толстенное бревно, заставляя недоумевать, как его сюда затащили. В бревне — топор. Дровишки на месте. И посидеть, как на завалинке, можно.

Ребята уже сидят. А двое или трое возятся у распахнутого окна. Оказывается, нашу трубу, дымящую под их окном, девчата заткнули тряпкой. Шум, визг стоит в комнате.

Но я уже смотрю не в комнату, а на высокую, как мне тогда показалось, девушку в сером, узком в талии, по тогдашней моде, пальто. Она поднялась по лестнице следом за мной и, отойдя к окну, дожидается, когда можно будет пройти в комнату. На подоконник поставила ящик-посылку. («Стрепетовой Евгении П.» — почему-то заторопился я прочесть.)

Положила на ящик вязаные варежки и ждет, улыбается из теплого платка, как из окошка. И минуту, и пять стоим, а она все улыбается, и в этой улыбке участвуют не только ее глаза, не только неспокойные, чуть бесформенные губы, но, кажется, и пальцы рук, забавляющие друг дружку.

Спустя много лет она говорила:

— У меня рот от смеха не закрывался.

Это верно, что улыбалась она, наверное, и во сне, но только рта при улыбке никогда не открывала. Где-то она потеряла зуб, и стеснялась показывать темную щелочку в самом уголке рта. Смеялась всегда закрытым ртом, от этого уголки его подергивались и улыбка была еще нестерпимее, радостнее.

Теперь, когда я слишком склонен все обобщать, кажется мне, что не одни только восемнадцать лет, но само время улыбалось в ней.

Безудержно, как бы наверстывая. И в нас тоже. Даже в таких, как я, хотя физиономию мою жизнерадостной назвать было трудно. Война окончилась, победа была тем радостнее, чем ужаснее было ее начало. А мы были на пороге всей жизни, и к тому же, что ни говори, студенты всегда живут в мире несколько условном, в особом микроклимате. Книги, друзья, подруги, стипендия, общежитие, молодой сон, непроходящий аппетит (даже в «анатомичке»), мечтания, молодая вера... Мы, конечно, читали газеты, слышали, как с грохотом и эхом на всю страну обрушивались имена, судьбы, чье-то будущее, но это никак не соотносили с собой, со своим будущим. Ездили в деревню, видели, что там делается, но тут же опять ныряли в свой студенческий мир. Сейчас-то я хорошо помню — как собственную вину — страшные слова и слезы женщины, у которой мы, студенты, жили, когда поехали «на бульбу». А тогда уже на пятый день почти не помнил. Муж ее умер после госпиталя, двое сыновей погибли в партизанах, дочка после Германии Все болела.

Однажды наша хозяйка, получив бумагу от финагента, собралась и пошла в райцентр. К вечеру вернулась, вошла в свою хату (печь, лавка, сколоченный из ящиков стол, холмик картошки в углу напротив грязной кровати), села у окна и тупо смотрела перед собой. И заплакала: «Почему не забрала и нас война? Пусть бы опять!»

Мы зашумели, мы готовы были тут же идти в райцентр, кричать, доказывать, грозить столицей и газетой, добиваться. Еле дождались утра. А утром сообразили, что мы только и можем — собрать остатки своих стипендий и оставить женщине. Правда, того, что нашлось у нас, не хватило и на половину ее налога.

Кажется, впервые нам стыдно было жить на стипендию, в общежитии...

Такое врывалось ненадолго, но, оказывается, откладывалось где-то на глубине. Чтобы всплыть потом, как во время ледолома всплывают убитые.

...Да, а что там у моей маленькой соседки? Нарисовала дом, огород, а теперь пытается в ладонях носить водичку и поливает. Дом у нее с прозрачными стенами.

Самыми прочными в мире. Такими же вечными, как само детство. Мимо проходят студенты, парами и шумными толпами. Их узконосые ботинки наступают на мои цифры, потому что девочка не стесняется защищать свой дом и сад: повернется к ним сердитой спинкой и ждет. Если кто ласково тронет ее за волосы или плечико, она и не взглянет, а только на мать (или бабушку) посмотрит и

мамино выражение, серьезное или снисходительное, неумело навесит и на свое личико.

...Нашу великолепную «коробку» взялись восстанавливать под учебный корпус в 1948-м.

И самый счастливый период знакомства с Женей связан с этой «коробкой».

Правда, она никак потом не могла припомнить меня, посылку, как стояли мы в сторонке, смотрели друг на друга и она улыбалась из своего платка, как из окошка.

Помнит она меня со времени куда более позднего. И даже не с той ночи, которую мы провели бок о бок, можно сказать, в одной постели. Это случилось в 1947-м, когда мы поехали на Березину пилить доски — каждый для своего института. Хлопцы выволакивали из реки тяжелые, осклизлые бревна, поднимали на тележки, катили по рельсам в гору, к станкам. Девчата время от времени появлялись из-под помоста — выносили опилки. На берегу горы опилок чисто белели, пахли сыростью и лесом.

Жили все — и мы, медики, и они, университетские, — в бараках, в которых перед этим содержали военнопленных немцев. Довольно чистые, из новых досок бараки. С трехэтажными нарами, но не вдоль стен, а поперек — вроде вагонных полок. Самые верхние полки разделены были лишь дощечкой высотой в ладонь.

Ворвались мы сюда после работы с обычным шумом и гамом. Я уже не мог не думать постоянно о Жене, не искать ее глазами, хоть мы и словом с ней еще не перекинулись за полгода знакомства. Она облюбовала вторую полку, но там уже лежал чей-то узелок, тогда она, сбросив сапоги и поправив юбку, надетую поверх брюк, вскочила на самую верхнюю и стала устраиваться, сгибаясь под потолком. Пока я прикидывал, как мне быть, почти все места были уже захвачены, но свободным оставалось самое желанное — возле нее.

Света не было, но уснул барак только к утру. Я лежал в темноте и слышал ее совсем рядом. Свесившись лицом вниз, она участвовала в разговорах, смеялась со своими, а когда, утомившись, поднималась на нашу постель, разделенную дощечкой высотой в ладонь, вся пропахшая опилками, смолой, сыростью, локоть ее проходил почти над моими глазами. И тогда я почти видел, как она лежит глазами в потолок и тоже слушает мое притворно-спокойное дыхание. Я все искал слово, которое бы не было глупое, тупое после стольких месяцев нашего молчания. Какое-то даже вывалилось из моего сухого рта. Она беспокойно зашевелилась и глянула в мою сторону.

Внезапно исчезла, будто свалилась с полки. На ее место взобрался кто-то громоздкий, простуженный и тут же попросил у меня сигаретку.

Но и этого случая она не запомнила. Узнала она о моем существовании гораздо позже.

Я же с той первой встречи у окна столько раз ее встречал и провожал, столько умных, тонких, счастливых и горьких разговоров с нею вел! Мысленно. Только мысленно, но любовь-то была настоящая, реальная. И тоска настоящая, реальная. И встречи были — пусть случайные, без единого слова. Уже издали видел ее радостную улыбку, ощущал, как растягивает улыбка и мои губы, щеки в невероятно глупое и счастливое выражение, но, как только мы приближались друг к другу, ее улыбка внезапно исчезала, настороженно и даже испуганно она опускала взгляд, и я тоже жалко комкал свою усмехающуюся физиономию, как шапку у порога.

Удивительно смешон слепо любящий, слепо верящий.

Началась и многие месяцы длилась поразительная наша любовь. Наша — потому что в ее, если не любви, то симпатии ко мне я ничуть не сомневался. Сколько несостоявшихся разговоров, касаний, слов, решительности было в моих тайных о ней мечтаниях. При случайных встречах на улице, в коридорах общежития, которые служили и кухней и танцзалом, вел я себя так, как если бы точно знал, что и она, пробежав мимо или нарочито громко заговорив, засмеявшись с кем-либо другим, потом за полночь обдумывала все детали, выясняла для себя: а что значит тот взгляд, то слово, подчеркнутое невнимание или внезапная грусть на лице? И взвешивала, и загадывала, как вести себя следующий раз в отместку.

Это у меня на всю жизнь. Сказать, что от неуверенности — тоже правда. Но также и от самоуверенности. Да, и от самоуверенности, капризности, нашей, мужской, хамской, сугубо послевоенной. Как же, нас на двадцать миллионов меньше, а их на столько же больше! Любите нас и черненьких...

Но рядом с зтим — дикая моя трусость, неуверенность, бездарная угрюмость именно в тот момент, когда так хотелось бы взорваться и остроумием и весельем. Все они — девушки, женщины — всегда делились для меня на два ряда: те, кого я могу полюбить (это к чувствую сразу по внезапному своему испугу), и все остальные. С остальными мне легко, даже просто, и я вполне нормальный человек, мужик. Но есть, было, сразу чувствую в очень немногих (и все-таки не в одной-единственной) что-то такое, что сразу меня и все во мне останавливает, будто внезапным воспоминанием поражает: она! эта!

Несколько раз за свою жизнь я встречал ее, которую мог полюбить. И каждая — как не прожитая жиздь. Нет, наоборот, прожитая, на непроявленной пленке, но прожитая. Это и полячка с удивительно тонким, прекрасно строгим лицом, что поила нас молоком от черно-белых немецких коров в Западной Белоруссии; и та (не помню даже глаз, лица ее, но всю, но свет помню), на которую взглянул возле газетного киоска, а потом шел по Ленинграду за ней, зная, что заговорить не осмелюсь, но именно потому шел, бежал, как при последнем расставании.

И еще встречал их, которых, знаю, полюбил бы, если бы что-то задержало их возле меня. Сам задержать я не умел, не мог. Как раз и узнавал ее, ту, по бездарной моей скованности, беспомощности. Лицо, глаза мои, наверное, сразу делаются, как у неопытного вора. То-то Женя сразу теряла улыбку, испуганно убирала взгляд, когда я оказывался у нее перед глазами.

Таким был я.

А был еще он.

Учился он в университете на философском. И тоже какое-то время жил в том огромном общежитии. Заметен был, очень.

— Вот тот, с золотым зубом — сталинский стипендиат. Да. И профком: юнровское барахло делит. Все проректоры в его штанах гуляют.

Говорилось это хотя и насмешливо, но тем не менее уважительно: проблема штанов, ордеров, карточек хотя и была для нас не главной, но и не последней. Только удивляло, как один человек везде поспевает: и учиться на сталинскую, и сидеть во всех президиумах на городских и своих собраниях, и барахлом распоряжаться, и в то же время быть таким солиднонеторопливым.

Так удивляет простаков в цирке, что канатоходец мало что сам идет, так еще и длинную палку на ладонях несет...

И вот она вышла замуж. За него!.. За человека, с которым меня связывал случай, пожалуй, самый гнусный в моей жизни.

Взяла и вышла замуж. Будто не было ни меня, ни наших далеких улыбок, любви нашей.

— А ничего жинку себе отхватил этот университетский деятель, — услышал я голос напарника, с которым тащили по строительным лесам носилки с мусором. Я уже и сам заметил, что они вдвоем идут внизу, под нами, одетые, как в театр.

— Да они давно так ходят, — возразил я небрежно, хотя мои колени сразу свяли.

— Свадьба вчера была. Всю ночь университетские гуляли. Ну, ты что?..

А я что? Мне лишь показалось, что я по-собачьи завертелся на месте. Хотя носилки все держал, только мусор посыпался с лесов вниз. Но до сих пор мне представляется, что завертелся, что сел, почти как тот партизан, что трепался с девчатами возле кухни, а тут подъезжает разведчик и говорит: батьку, мол, твоего и мальчишку сожгли каратели. Человек уронил винтовку, обхватил себя руками и, страшно мыча, завертелся на месте, сел...

Вот так — в лоб — получил и я.

И все равно ничего не понял. Не вылезал из общежития целую неделю, перебирал все, что было, чтобы только понять, чем я толкнул ее на такую безжалостную месть.

Вышла, и именно за Стипендиата. Этот всегда оказывался у меня на пути.

Потом я встречался не раз и не два с ними, теми, что одинаково уверенно протягивали руку и брали, как должное, все, перед чем другие останавливаются в смущении или размышлении.

Но Стипендиат для меня — что-то большее, нежели один из многих. Он — «мой вариант», также как и Женя и вся жизнь — «мой вариант».

Случилась та история, связавшая нас с ним еще до Жениного замужества, когда всех нас выселили из «коробки». Возле того случая память моя всегда, как пугливая лошадь, бросается в сторону. За морду себя приходится тащить к тому месту.

В картонном немецком бараке, стоявшем в этом вот скверике в самом дальнем углу, жило нас человек пятьдесят, в комнатах — по пять, шесть человек. Из шестерых трое в нашей комнате были инвалиды, а один из них — с синюшной от мины щекой и поврежденным глазом — учился на философском вместе со Стипендиатом. Большой оригинал он был — наш Гриша-философ. От цвета неба или листьев в скверике делался счастливый или печальный, на баяне классику исполнял, как полный симфонический оркестр, а спал — в сапогах.

Сидит над «Капиталом» или «Критикой чистого разума», пока спящие не начнут чихать от его коптилки. Выкурит еще сигаретку и — под простыню. Не снимая сапог, будто это пижама.

Утречком сидят у нас чьи-либо родственники, приехавшие из деревни, беседуют чинно со своим студентом, и вдруг из-под одеяла, из-под простыни появляется взлохмаченная голова, голова спускает на пол ноги в большущих сапогах.

Пробормотав: «Здраст-извините», — голова и сапоги исчезают за дверью.

И сны у нашего Гриши были все еще партизанские: с криком, матом, задышливым бегом.

От медалей и орденов его черная единственная гимнастерка была тяжелая, как кольчуга.

До подробностей помнится тот несчастливый день. Начался он обыкновенно, даже весело. Воскресенье было — в столовую мы пошли с баяном. Возвращались, хотя и не очень сытые после жиденьких щей и серого пюре (картошку чистили какой-то машиной), но с музыкой. А еще нас и повеселили на самом выходе. Там у двери всегда сидела сердитая женщина, которая забирала ложки: входишь — получаешь, выходишь — возвращаешь как свидетельство твоей честности. А один тип ложку-то сдал, но в это время из-под плаща у него выскользнул огромный поднос. Перепрыгнул он через жестяное коло, еще звенящее, и драла. Шли по своему скверу и хохотали, громко припоминая все подробности: как человек подходил к двери, все выше поднимая колени, чтобы удержать сползающий по животу гладкий поднос. Гриша выдавал марш из «Фауста». На ходу он заглянул в запыленное окошечко полуразвалившегося складского барака и вдруг оборвал марш.

— Опять! — сказал он громко. — Опять «юнру» потрошат.

Подошел и рванул на себя дверь, да так, что сорвал с крючка. Те, что были в бараке, вначале растерялись, будто их нагишом застали.

Но тут в перекошенной раме дверей появился Стипендиат. Я впервые тогда отметил (рама помогла?) замечательную особенность его лица, головы: оттянутые назад, прижатые упрямые и злые уши, как бы тянущие на себя и всю кожу лица, отчего оно всегда устремлено чему-то навстречу.

— Что надо?

— Похлебку для бедных взбалтываете? — сказал Гриша, сильно побледневший.

— Что положено, то и делаем. Тебя не спросили!

— А надо бы спросить.

— Получишь на факультете. А заодно и за хулиганство...

— После ваших рук? Обойдусь.

— Обходись.

И закрыв дверь, прикрыл возмущенные лица и спины тех, что стояли над большой кучей тряпья и обуви.

— Да ладно, — кто-то утешал Гришу, — думаешь, до них уже не полазили?

— Черт с ним, с барахлом, — не унимался наш философ, — только как им не противно?

Проснулись мы ночью от криков и света — горело что-то в сквере. Наш Гриша сидел у стола и пьяно, бессмысленно улыбался зареву. Партизан проклятый!

Мы сразу поняли, что произошло. Кто-то тут же съездил ему по шее.

Утром его вызвали. А потом и нас — всех, по одному. Мы, понятное дело, спали, «ничога ниякага», а когда проснулись, Гриша тоже был в комнате, спал. Ведь за развалюху-барак и за не вконец еще растащенное юнровское тряпье Грише, по тем временам, грозило такое, что мы никак не могли говорить правду. Хотя и непривычно это было — врать тому, кого считали воплощением стоящей над всеми человеческими слабостями целесообразности. Но не могли мы согласиться, что Гриша — преступник, а тот делец с оттянутыми ушами — пострадавшая вместе с обществом сторона.

Дело, однако, принимало крутой оборот. Постановление о хулиганстве вышло, а кроме того, очень уж старался Стипендиат: добивался пресечения «обывательских разговорчиков», что сам он и поджег барак, сплавив «юнру».

Гриша сидел под следствием, нас же не то чтобы отчислили из института, но и студентами не считали: попросили из барака, задержали стипендию. За систематические, дескать, пьянки. И без конца вызывали:

— Все еще «знать не знаем, ведать не ведаем»? Ну, ну обождем.

Скоро, даже очень как-то скоро усталое равнодушие просочилось в нас и меж нами, как сырость меж камней. Главное, бессмыслица какая-то! И непривычно это было для нас — так раздваиваться. Чувства, симпатия на стороне Гриши, но факт остается фактом — поджег он, и потому юридическая правота — вроде бы на стороне Стипендиата, и все, без чего мы себя не мыслили, удалилось от нас куда-то, отстранило нас от себя.

Как при этих обстоятельствах помочь человеку, как вызволить его из-под стены, которую он так неразумно обрушил на себя?

— Так уж вам хочется пойти по статье о лжесвидетельстве? Не думаю, что очень хочется. И даже по статье о соучастии. Да, да, соучастие — это не обязательно спички подавать.

Не знаю, что там говорили другие, но себя — там, того — помню, ох как хорошо! До сих пор чувствую на лице (наверное, Гриша так

чувствовал свою обожженную щеку) жалкую, виноватую, неуверенную и, что увиливать, предательскую улыбку, с какой произносил последнее свое «нет», «не он». Будь он за стеной, Гриша слышал бы, как я его спасаю, выгораживаю, и не видел бы, что жалкой, виноватой улыбкой своей предаю, предал уже.

Все это потом будет видеться крупнее. А тогда вроде и следа заметного не оставило. Гриша исчез, мы же были рады, что всех нас расселили, и при встречах не очень тянулись друг к другу.

А ведь верно, что человек всегда живет в определенном нравственном климате, и в разное время он поразному чувствителен или, наоборот, нечувствителен к каким-то вещам.

И ко мне это пришло не тогда, гораздо позже. Правда, друг другу все мы, вся пятерка, сделались чужими. А остальное шло попрежнему: учились, спорили, привычно кромсали трупы, отстаивали свою веру непримиримо и, ей-богу, верили, что мы честные.

А потом — новый климат, и заныло даже то, что давно зарубцевалось. Все, что так легко в те годы погружалось на самое дно памяти, души, совести, вдруг стало всплывать, ожило, проросло.

Люди делятся на власть имущих и на неимущих, на добрых и злых, на умных и дураков, на честных и нечестных, на ни то и ни се... Да мало ли еще как делятся! Но кому-то этого все-таки мало. Обязательно разделят еще на «чистых» и «нечистых», а себя объявят «Самыми-Самыми Чистыми». Вначале возникает центростремительное движение — попасть в «чистые». Любой ценой. Чтобы и дети не разделили судьбу «нечистых». Но потом и обязательно обратное: центробежное движение делается заметнее, и для человека уже самое важное — оставаться самим собой. Любой ценой.

Недавно прочел в одной пьесе: «Ну и эхо прокатится над Азией, когда миллиард рук в одночасье уронят гипсовые копии Самого-Самого!»

Удивляемся иногда: был нормальный, а потом каким-то чудаком сделался. Меня тоже многие считают странным, если не хуже. Даже она, Женя, считала. Ну, а разве сам ты привык к себе, такому неудобному?

Таким я стал потом. А тогда жил как жилось. Вполне соответствовал климату, в котором реальное, реальность почти не имели власти над тем, во что поверил. Придумать что-то и жить придуманным со всей страстью — это для меня было легче легкого. Так легко верить в то, во что верить хочется.

Издали смотрел красными от бессонницы глазами, как моя Женя и Стипендиат, чистые и чинные, в длинных по тогдашней моде

пальто, веселые и серьезные в одно и то же время, гуляли по скверику или шли под моим окном. Что-то уже начинал понимать, и все же всякий раз поражался, что она так счастливо держится за его руку и совсем не назло кому-то, а просто так, для себя.

Однажды встретился с ней, такой, лицом в лицо. На трамвайной остановке. Она — еще выше и красивее от своего женского счастья, и я — худой, небритый, в черной от времени шинели, в нелепых шерстяных носках, которые я натягивал чуть ли не до колен (не знаю, что в этом античного, но за белые, шерстяные ноги меня величали на курсе Гиппократом).

От неожиданности я готов был просить у нее прощения за то, что она меня, такого, любила (я все еще в этом не сомневался), что я смел когда-то мучить ее своим невниманием.

А она быстро прошла мимо, глядя только перед собой, но по обыкновению даря улыбку всему свету. Это была какая-то новая улыбка, незнакомо женская, взрослая; и в то же время трогательно-наивная: «Да, мы, женщины, такие, у нас это так, мы ходим, мы стоим так, сумочку держим так...»

Она наконец глянула в мою сторону, встретившись глазами, нахмурилась и чуть кивнула. Впрочем, тут же отвернулась. Трамвай подошел' переполненный, я помог ей подняться, даже за плечи схватил, когда кто-то, запоздало вырываясь из трамвая, едва не выбросил ее. Мои руки знают, помнят ее, но острее всего — этот миг, когда я, задохнувшись от неожиданности, принял на руки ее, падающую. Она оглянулась из-за плеча смущенно-беспомощно, тяжелый венок черной косы (тогда она еще не красила волосы и делала косу) лег мне почти на лицо. Она рванулась вперед, как бы спохватившись, и вырвалась из моих рук, втиснулась в трамвай. А я поехал на подножке.

Но и этого случая, как потом выяснилось, она не запомнила. Попробуй запомни всех, кто мешал или помогал тебе садиться в трамвай, троллейбус!

Впервые мой лик, уже не такой пугающе, голодно влюбленный, ворвался в ее сознание и остался где-то рядом с цифрой «1960». (Она тоже любила писать цифры, когда задумается. Даже губной помадой на моих бумагах.)

Это произошло, когда я обнаружил у себя болезнь, которая сегодня кажется такой невинной, — язву желудка.

А ведь были у нас и еще встречи. Но и они остались только в моей памяти.

Часа два стояли почти рядом в той необычной мартовской очереди 1953-го, в длинной процессии, изгибающейся у тяжелого монумента. Меня, помню, растрогало, как ее — по-детски вздрагивающую от плача — заботливо повернул к себе и держал за локти ее муж. Я просто благодарен был Стипендиату, что делал он это почти так же ласково, как хотелось держать и успокаивать ее мне самому. Впервые я смотрел на него совсем по-хорошему. Что-то общее у нас появилось в тот день с ним. Та смерть и черный грубый, но вдруг словно оживший монумент примиряли. Не только со Стипендиатом.

Смертью своей, даже невольной, человек всегда как бы винится, оправдывается за прожитую жизнь, за то, что делал.

А тут, казалось, не умер даже, а сам, сознательно, в чем-то непонятый, чувствуя глубинный наш холод к себе, несмотря на волны поклонений, решил смертию своею уравнять себя со всеми. Уже и смерть его казалась как бы актом только собственной воли.

Столько было вытеснено его именем, его следящим взглядом, что когда он позволил смерти прийти, забрать его, толпы людей потянулись вслед, и больше всего от испуга перед пустотой, этот испуг тоже принимая за любовь, еще не зная, не понимая, чем может быть заполнена в их душах остающаяся пустота.

Да, такое творилось и со мной. Хотя я-то мог понимать больше, чем многие другие. Печальный силуэт Пушкина на школьных тетрадках — это и та довоенная ночь, которая мне представляется и сейчас тяжелым бцедом. Проснулся (у меня была скарлатина), скосил горячие глаза на колкий свет, на больно ударяющие по голове голоса и вдруг очень ясно увидел среди чего-то, тяжело двигающегося, призрачно белую, полуголую шестилетнюю свою сестренку. (Больше я ее никогда не видел: когда пришел в себя снова, ее уже унесла моя скарлатина.) Маленькая фигурка, будто ожившая белая скульптура, то шевелилась рядом, то совсем удалялась и заклинала, заклинала кого-то испуганно-увлеченным детским голоском:

Хай смутак вачэй тваіх добрых не росіць,
І сонейка захад, ці сонейка сход...

А мама, двоящаяся, троящаяся в горячих глазах, вдруг куда-то пропадала, а потом появлялась рядом с белой скульптуркой, хватала ее за живую ручонку, как спасительницу, гладила и радостно просила-убеждала:

— Умница, доченька, еще, еще, дяди хорошие, они видят, пусть дяди увидят, какой наш папка...

И отец стоял тут же, уже одетый, держа в руках свою замасленную шоферскую кепку, точно и он еще надеялся, что заклинания девочки что-то переменят...

И вот я проходил мимо черного огромного монумента того человека, чьей волей это направлялось, мимо него, ставшего вдруг смертным, доступным, способным услышать. И тоже не говорил ему того, что имел право сказать. Я тогда тоже судил о нем, о целях его и мотивах по огромной, на всю страну, тени, которую отбрасывал этот ниже среднего роста человек, умело поставивший себя напротив восходящего молодого солнца великой революции.

И то, что я не говорил, не сказал черному монументу, я кричал потом самому себе и Жене, которая даже в 1961-м, оказывается, ни о чем таком всерьез не задумывалась возле своего Стипендиата. Она тихонько, как ребенок на холоде, плакала, сжавшись в уголке дивана, а я не успокаивал, не утешал ее, как когда-то хотелось мне у монумента, а все швырял и швырял слова — как камни — в нее, в себя.

Следующая встреча с ней (я их нащупываю в памяти, как зарубки) была на Кавказе. Вот она-то и была первой встречей, если говорить не обо мне одном, а наконец-то о нас.

Приехал в Железноводск с диагнозом: язва желудка. Та самая язва, которой я так испугался, будучи в партизанах. Больше самой смерти, близко ходившей тогда, напугало меня это слово. Да, да, — вот эта тревожная и радостная цифра: «1944».

Фронт приближался, партизаны, жители партизанских деревень ждали его, как праздника, как саму жизнь, звали на себя, хотя каждый думал, что, перекатываясь через нас, огненный вал испепелит именно тебя.

(Самое смешное, что я и этот, совсем не медицинский, случай записал в «черные тетради», в которых запрятан мой невеселый эксперимент. Все не забываю, что «Чехов тоже был врач». Оттого, что всегда помнишь это и что столько раз прокручиваешь все, какие только возможны, комбинации прожитого, ты уже и думаешь и вспоминаешь так, словно самому себе рассказываешь. Это очень отвлекает от невеселых мыслей, особенно когда думаешь кусками, «сюжетно». Чур, чур, не накликать бы, не разбудить бы моего Точильщика: вдруг запустит свой наждак! Острая, колющая точка под черепом не гаснет ни на секунду...)

В деревне с неприятным для партизана названием Ровное Поле (леса, и правда, не видно) наша группа остановилась на ночевку: везем в лагерь бригадных разведчиков, убитых возле «варшавки».

Подводы с мертвыми стоят в конце деревни под гаснущим вечерним небом, а мы идем по хатам и землянкам. Женщины возвращаются от подвод к своим калиткам, а тут их дожидаемся мы — живые и голодные. Я сижу под забором на бревне, смолистом, свежепахнущем. Хата на замке, и я жду. Подошел высокий мужчина лет 25-ти, поздоровался, хотел сесть, но посмотрел на свежее бревно, непроизвольно провел ладонью по брюкам. «Учитель» — твердо решил я. А он взял из-под мышки книгу и, положив на бревно, сел на нее. Очень худой, с белым, как побеги проросшего в погребе картофеля, лицом. Старенький костюм его тщательно выглажен. «Не жилец на свете!» — так можно было расшифровать мое впечатление. Такие отутюженные костюмы я видел лишь на довоенных покойниках. Начался у нас солидный разговор, он меня, пацана-партизана, на «вы», и я его на «вы» тоже, но с некоторым пренебрежением, поскольку он почему-то не в партизанах. Поговорили об убитых, о фронте, который, если одному постоять рано утречком, уже слышен. Я вдруг подумал с завистью мальчишки, что этот «не жилец» пересидит, переживет и меня, как пережил тех, что лежат на подводах.

Пришла наконец хозяйка, сказала ему: «Посиди, сынок», а мне: «Пойдем, сынок». И вот я уже за столом, а она из горшочка наливает удивительно пахучие картофельные клецки. Соскребла вкусно подгоревшую желтую молочную пенку и тоже положила в глубокую обливную миску.

Я ужинаю, а она распевно жалеет убитых, жалуется мне на войну, на немцев и полицаев, на партизан. («Ночью пришли какие-то незнакомые, поели, а один хотел снять с сына костюм, обменять на свое рванье, добро еще, что были в деревне наши хлопцы».) А «учитель» привык одеваться чисто. («Он всю жизнь у меня болеет».)

Она рассказывает, а я покорно слушаю и, уже засыпая над миской, лениво соображаю, что любая болезнь не летит так быстро, как пуля или мина.

— Язва у него, — сообщает женщина, очень обыкновенно.

«Сибирская!» — быстренько извлекла моя встрепенувшаяся память.

Ложка стала пухнуть у меня во рту, а желтая пенка запахла лекарством.

Боя, пуль, которые «летят быстрее», не пугался так, как испугался этого слова, которое раньше встречал лишь в книжке.

Оно меня и в самом деле настигло, но лет 15 спустя. И помогло состояться нашему с Женей знакомству.

Женя любила рассказывать, припоминать, как это все было. Со всеми подробностями. Прислонится к стене, держит простыню двумя руками на груди и вспоминает.

Приехала Женя одна. Давно хотелось побыть одной. Вышла замуж потому, что всякая девушка должна убедиться, что ее возьмут, а так бы и не выходила никогда.

... — Нам даже не обязательно то, без чего вы, мужики, говорят, и в армии и в тюрьме не можете. Нас девичья лирика с тропы сбивает. Да иногда так захочется ребеночка! А так бы...

А он, ее будущий супруг, мой Стипендиат, так уверенно предлагал свое внимание — один из тех, кого на 20 миллионов меньше — а кроме того, все подруги считали, что он чье-то везение, и маме он понравился, потому что такой солидный, обстоятельный и даже не некрасивый, хотя для мужчины красота и не обязательна. Легко было и самой поверить, что это и есть твое. И главное, почему-то не думалось, что замужество что-то отнимет, остановит.

Только добавит, а прежнее останется с тобой.

... — И вначале даже любила, не столько его, сколько свое женское счастье, свое замужество, любила нашу пару, все так и говорили: какая красивая пара! А потом пришел ребенок, но нас все равно осталось двое: я и дочка, а муж как-то выпал. Сидела дома и все обдумывала, обдумывала. Это как вяжут: глазок за глазком. Значит, моя женская судьба — он. А почему именно он? Простой до глупости вопрос, но я чуть с ума не сошла. Не в вопросе самом дело: просто я поняла, что не любила и ничего уже не будет. С удивлением смотрела на чужого человека, который своим ключом открывает нашу дверь, вешает шляпу, пальто, что-то свое, затриземельное, министерское рассказывает. С недоумением рассматривала чужое покрупневшее лицо, поблескивающий золотой зуб...

— Вот так я иногда и собственную руку разглядываю: странно, что пальцы, что их столько, что на них эти твердые пластинки, а я их покрасила лаком и без опаски подношу к лицу.

... — С ужасом ждала вечера, ночи. Одним словом, сделалась невозможной. Вначале он удивлялся, потом обиделся, возмутился. Мы замолчали. Разговаривали только с дочкой и через нее. А потом я узнала, что он уже утешился. Далее выговор схлопотал, скандал какой-то вспыхнул, и он ужасно перепугался. Чей-то муж поднял шум, а я не вмешивалась, мне было почти все равно, да и понимала, что сама виновата: вы же без этого не можете. Но такое отвращение меня одолело, что уехала к матери. Считалось, что я больна, что это от нервов. А потом он явился, забрал нас назад, и мы зажили снова.

Постепенно научилась прятаться от самой себя во внешнюю жизнь. У мужа был свой «круг», он ввел туда и меня...

— Мужчины нашего круга пьют «армянский». А вашего? — первое, что я услышала в этом мирке.

... — Дочка подросла, и я уже работала в молодежном журнале. У меня появился свой мир: недавние студенты, рядом с которыми и я делалась озорной, но, по-моему, нехорошо, зло озорной. Даже жалко иногда бывало мужа, когда он приходил, а дома у нас мои гости, и не разберешь со стороны, кто кому кто: муж и жена похожи на любовников, зато чужие весело изображают семейную пару.

... — Так и существовали рядышком два «круга»: он игнорировал и ненавидел мой, а я издевалась над его, хотя и мой изрядно уже тяготил.

Все невыносимее была мысль, что хозяин положения все-таки он: забежал наперед и перевел стрелки в свой тупик, а ты уж хоть песни пой, хоть криком кричи — назад ходу нет.

Нашу встречу в Железноводске она видела так.

Курортная сутолока мало затрагивала ее, была лишь фоном для долгожданного одиночества. С недружелюбным озорством наблюдала за традиционными курортниками, которые, вырвавшись на волю, одинаково боятся пропустить лечебную процедуру и интрижку. Наконец поняв, что с нею они только жадно подсчитанные дни теряют, с обидой и гневом отруливали в сторону один за другим. Потом она и вовсе заскучала, после лечебных процедур лежала в комнате или уходила с книгой за «железную гору». И лишь в столовой обменивалась одной-двумя фразами с соседкой, щедро нахваливала то сарафан, то цвет лица молодящейся некрасивой женщины: почему бы и не сделать женщине приятное в присутствии ее мужа, который не слишком досаждает супруге влюбленными взорами? А жена, как бы в отместку ему, постоянно заводила разговор о его анализах, громко, старательно инвентаризовала все его болезни, чтобы другие тоже знали, какой это незавидный организм. И все напоминала о четвертом едоке: «Молодой еще, хотя оброс весь, все с анекдотами, даже интересный, если бы не такой худой от своей водки».

Об этом соседе охотно говорили даже соседние столы, а Женя за целую неделю ни разу не застала его за прибором. Он уже раздражал своей навязчивой неуловимостью. Официантки о нем отзывались сердито, но и жалели: главврач грозился выставить его за нарушение режима.

Уже ловила себя на том, что спешила в столовую или, наоборот, опаздывала с желанием освободиться наконец от раздражающего бабьего любопытства.

Было и правда интересно взглянуть на этого типа, который совсем не рвется забрать все, что обещано курортной книжкой, зато бочку с молодым вином облапил, как медведь улей.

А потом насели мысли о доме, о дочке, которая вот-вот взрослой сделается, — так что про соседа почти забыла. Семейная пара собралась уезжать. Еще раз обратила внимание энергичного, как ползунок, толстяка-мужа на то, как похорошела его жена, а та расцеловала Женю и даже мужу позволила поцеловать.

Возможно, и пьянчужка тоже уехал.

Пришла однажды, а на его месте — новенький. Без бороды, старательно склонившийся над кашей-размазней, как часовщик за витринным стеклом. И смотрит испуганно на идущую к столу Женю, точно она привидение. Невольно оглянулась, не случилось ли там чего-либо.

А я действительно побрился, сбегал на процедуры и сижу за столом, как нормальный язвенник. И тут появляется она, идет прямо на меня, все крупным планом, как в кино. Уже у порога как заняла весь экран, так и идет прямо, не замечая меня, точно между нами световой год или я в зарослях сижу. Села за наш стол, поздоровавшись, оглянулась на официантку. А я был невидимкой. На время куда-то исчез. Наконец, очевидно, вернулся из антимира, потому что она тут же заметила меня и поинтересовалась, не из Белоруссии ли я, не учился ли в университете. Спокойно, всерьез спросила, даже слегка обрадовалась земляку. Будто и не было ничего: не любили столько лет, не улыбались, не казнили, не ссорились и не мирились десятки раз!

— Ах да, это вы! — наконец признала меня. — Вас обрили? Извините, я что-то не то болтаю.

Она разговаривала с забулдыгой-земляком, который сделался притчей в санатории, а он захлебывался, как тонущий, от ее голоса, от близкой улыбки и, конечно же, все еще искал в ее поведении хотя бы намека на давнюю любовь.

У этого землячка еще оставалось время, чтобы в ее присутствии вслух и про себя поиздеваться над целыми годами нелепейшего самообольщения.

Возможно, что, благодаря именно такому внезапному протрезвлению, я вдруг сделался ужасно веселым и даже развязным. И, кажется, от самого себя я был в большем восторге, нежели от нее:

это я, я иду рядом с нею и, как опытный курортник, держу ее за локоть, это от моих слов наливаются смехом ее серые под черными бровями глаза, это ко мне повернулась она от источника, по-детски наклоняясь к стакану вместо того, чтобы поднять его к губам, ярко накрашенным, знакомо подергивающимся губам!

Здорово веселясь, я поведал ей о нашей многолетней любви. Она удивилась, рассмеялась, но потребовала подробностей.

— Ну и ну, я и не знала, что на мне еще и этот грех.

Но и назавтра, когда мы пошли вокруг «железной горы», зеленой от крутых деревьев и звенящей от голосов непугливых птиц, Женя вернулась к моим воспоминаниям. С каждым разом я вынужден был затрагивать все более личные подробности, но рассказывал это так, точно все происходило с кем-то другим, а не со мной.

Зато она с каждым днем становилась серьезнее, задумчивее, а веселящийся голос мой ее уже раздражал, хотя и слушала внимательно, даже жадно.

Провожал ее к поезду. Я все говорил, говорил, а она молчала.

— А знаешь, — перешла она вдруг на «ты», — я ведь с самого начала мучилась узнаванием. Наверное, что-то я помнила. Значит, глаза мои как-то участвовали в твоей игре. Как ты думаешь, это ведь во мне откладывалось?

Когда поезд пошел, она торопливо заулыбалась. И заплакала. Пожала плечами, будто удивляясь себе, отошла от окна.

Мы так и не сказали ничего, что позволило бы искать встречи. Но искать мне не пришлось.

Прилетел я домой, заглянул в деканат института, за десять минут испортил себе настроение, и в тот же день явился в клинику. Студенты есть студенты, для двадцатилетних человеческий скелет — забавнейшее из наглядных пособий. На самом деле интересно — взгромоздить его на кафедру вместо преподавателя.

Пока молодые люди с притворным смущением освобождали мое место, я рассматривал аудиторию, чтобы вернуть себе уверенность лектора. И вдруг: она! Сидит на самом верхнем ряду. Даже ручку держит, негодная. И не смотрит на меня, только рот смеется.

Не знаю, что там за вступительная лекция у меня получилась, кажется, никто кроме новоявленной студентки ни слова не записал. Прежде чем начать разговор о самом беспощадном враге человеческого организма — о злокачественных образованиях, — я пропел гимн тому, кого мы призваны спасать. Тыкал указкой в добродушно и покорно белеющий рядом скелет так, что позвонки пощелкивали точно бухгалтерские костяшки, а говорил о счастье быть живой,

осознавшей себя, свою эволюцию материей. Быть осознавшей себя радостью бытия. И болью. И печалью. Добротой и вдохновением. О счастье быть человеком. Жарких слов не жалел, носился через историю и современность, не щадил даже литературу и живопись — и все ради простейшего силлогизма: «Человек — материя, заглянувшая себе в глаза».

То, что не способно прямо смотреть себе в глаза, узнавать себя — не на уровне человека.

Любовь именует себя любовью, горе — горем, драка — дракой, смерть тоже не стремится называться жизнью. Зато подлость как только не именует себя! И почти никогда — подлостью. Нет другого слова с таким длинным хвостом синонимов.

Боюсь, что для студентов, привыкших к подчеркнутой сухости моих прежних лекций, этот фонтан пустословия был несколько неожиданным. И не простой фонтан, а как бы подсвеченный и музыкально сопровождаемый — что-то вроде виденного мною в Финляндии.

Откуда им было знать, что в их сухо-ироничном лекторе именно таким фонтаном вдруг забило счастье быть человеком оттого только, что другой человек сверху смотрел на него заговорщицки-веселыми глазами?

И не рассказывать же мне им про некоторых своих коллег из деканата и по кафедре.

Впрочем, если бы на лекции присутствовали декан с заместителем и завкафедрой госпитальной хирургии, они не поняли бы, что я толкую и о них тоже.

Они свое поведение, поступки называли совсем не теми словами. Естественно, и с этим ничего не поделаешь. Единственное, что возможно: не поступать так же и самому, добираться до простейших, изначальных своих мотивов и побуждений. Снимать синонимы, как капустные листья — до самой до твердой кочерыжки.

Чем же еще заниматься, когда у тебя отпуск? И, возможно, последний. Смотри себе прямо в глаза, материя, осознавшая себя человеком, не жмурься и не кривись, милая!..

Потом я имел возможность прослушать свою лекцию в выдержках, здорово схваченных Женей, и лишний раз убедился, как опасно терять чувство юмора. Комментируя ее записи, я вовсю старался поправиться. Она помогала, но вдруг сделалась серьезной и даже печальной:

— А ведь и правда страшно. И удивительно. Миллиарды лет, а мы встретились, все-таки встретились.

Я напомнил, что только моя мужская самонадеянность помогла пробиться к ней через все световые годы, выйти в один и тот же миг на один и тот же перекресток бесконечности. Не будь я так глуп, все старания вечности пропали бы даром...

Но это было потом, несколько дней спустя, а сразу после лекции мы разговаривали не так и не о том. Я подождал, пока она спустится вниз со своего места, поздоровался, что-то незначительное сказали друг другу, а в конце я произнес что-то вроде: «Я сейчас» и пошел в деканат, почему-то зная, что она будет ждать, вышел, а ее нет на лестничной площадке, но я стоял, зная, что она появится, увидел ее, поднимающуюся по лестнице, и пошел навстречу, сказал что-то, она ответила, вышли на улицу, подошло такси, и мы сели.

Ни она, ни я не могли вспомнить, о чем мы говорили.

— Я помню как раз молчание, мне страшно делалось, когда ты, когда мы замолкали, — признавалась потом она.

Поднялись в мою комнату, она села у стола и так сидела, прижав крепкие, загорелые и точно испуганные ноги к ножке стула. Я то сидел, то стоял, то выходил с сигаретой на балкон и говорил, говорил. И смотрел на нее. Она была в белом, очень белом от черных полосок по бортам и очень узком костюме. Оттого, что волосы покрашены в соломенный цвет, ее темные брови, глаза и ярко накрашенные губы как бы отдельно от бледного лица жили. Чего-то было жалко в прежней чернокосой Жене, а в теперешней дороже всего для меня были глаза: возможно, потому, что они наконец видели меня, а не ускользали вслед за уходящей вдаль беспредметной улыбкой.

Ведь и сам я был уже другой. Память моя, возможно, все еще любила ту, прежнюю Женю. Но тот, что метался по комнате, что смотрел на нее, любил уже эту — женщину с резкой, подчеркнутой и чуть усталой красотой.

И снова мы вспоминали про все, что было у нас с нею когда-то, она уже не только слушала, но и подсказывала:

— Да, да, я помню вашего баяниста. Мы вначале даже боялись танцевать под его музыку, такой он был мрачный. И с ним всегда инвалиды ходили.

— И орали. Это — мы! Один я был полностью с руками и ногами.

— Нет, правда, я тебя и отдельно помню.

Неожиданно сообщила:

— У нас сегодня гости. Новоселье.

— Тебе надо уходить?! Сейчас?

Но она только закурила. И сказала:

— Как тихо.

И засмеялась, потому что, наверное, услышала (и у меня будто уши отложило), что совсем не тихо, а, наоборот, очень кричат внизу под окном дети.

Это мне запомнилось, потому что часто включалась такая тишина. Стоило нам остаться вдвоем, и внешние звуки точно под воду уходили.

Потом она говорила про этот вечер и ночь:

— Ничто не было важно для меня. Знала, что дома ждет катастрофа: собран весь его «круг», а хозяйка исчезла. Но будто ничего этого и нет уже у меня и не было ничего. Утром, уходя, думала лишь, чтобы скорее кончился день. Даже радовалась, что дома у меня будет так плохо.

А для меня все было странно, прежде всего странно. Что-то я просто не воспринимал, не доходило до меня, как не воспринимаются волны, колебания, которые за порогом наших чувств. «Это же она, она!» — кричал я себе, но не знаю, чего больше во мне было: восторга, желания поверить или испуга перед тем, что все так обыкновенно. От такой неожиданной, такой невозможной близости та, которую столько любил, куда-то исчезла, и вместо нее рядом была другая: неловкая и даже жалкая улыбка, обнаженные, а потому вдруг ставшие просто женскими плечи, грудь, ноги. Будто заманили тебя единственным в мире обликом, но вместе с одеждой тут же все было отброшено, и осталось лишь то, что нужно природе, а не именно тебе, только тебе.

Я виновато повторял какие-то слова, ласкал ее имя, стараясь вернуть ее облик, но до ужаса ясно сознавал, что изменяю моей любви, моей Жене. С нею изменяю ей.

А она, будто чувствуя это, настороженно перехватывала мой взгляд, прижималась, не давая себя рассматривать, ласково-сердито просила:

— Не надо, ну, пожалуйста, не смотри.

А сама даже в глаза не могла смотреть, а только на губы, на шею...

Но так было только первый раз.

Прошел лишь день, и я уже ждал не какую-то далекую, из памяти, из мечты, Женю, а женщину, которая была со мной, которую я уже знал и любил всю.

Ее появление в моей комнате помнится в одной последовательности.

Быстрый-быстрый звонок у двери. Я сразу узнавал, угадывая ее весело-сердитое: «Это я, чем ты там занят?»

— Ну, что ты не открываешь? — говорит всегда, хотя бы я тут же открыл: — Звоню, звоню...

Отнимает себя, губы, глаза, сует мне в руки пальто или плащ, а если нет этого — хотя бы сумку или книгу, чтобы занять меня делом, а сама проходит к зеркалу.

— Опять я не причесалась. Когда тебя не было, не надо было, ходила причесанная. А теперь, господи! Но мне просто не хватает времени, чтобы быть красивой: лучше у тебя лишнюю минуту побыть. Что стараться, ты же меня не любишь!

Последнее говорит убежденно, но улыбается счастливо. Резко, нещадно рвет расческой свои длинные волосы, уклоняясь от них, как от водопада, то влево, то вщраво. В протянутую под этот водопад мою руку, отстранившись, кладет старую ленточку, которой стягивает узел.

— На, подержи. Садись там и не мешай.

Лицо ее, подвижный, улыбающийся рот рады моей назойливости, а глаза уходят от моих, все время уходят, почти так же, как при первой встрече в этой комнате.

— Постой, я позвоню.

Звонит на работу, чтобы узнать, куда и скоро ли ей бежать (она уже корреспондент городской газеты — журнал оставлен). Потом матери: приходила ли обедать Аня (дочка), кто звонил, не искал ли кто?

Иногда звонила мужу: кто-то из его родни приезжает, она придет во столько-то, приготовит ужин, а ему на машине — ехать встречать.

Разговаривает с мужем обыкновенно, и если кому не по себе, так это мне.

Я знал, что если бы сказал ей: «Оставайся насовсем», она вот так же просто сообщила бы ему, что от него уходит.

Я ничего не говорил ей, и она принимала мое молчание тоже просто, наверное, тоже считая, что мы, мужики, никак не можем без этого: без колебаний, без эгоизма. Она даже старалась помочь мне поладить с собственной совестью: вдруг начинала расхваливать мужа и уверять, что по-своему любит его и с ним ей легко, а со мной, когда ее настроение, ее душа в такой зависимости от любого моего каприза, ей было бы трудно и даже страшно.

Она прибегала ко мне на минутку, на час, на весь вечер до самой ночи, она была со мной, но существовал и тот берег, с которого она ко мне перебегала — узенькая кладочка всегда была перед глазами. Вбегая, она тут же хватала телефонную трубку: ей

обязательно надо было оглянуться на покинутый берег, видимо, чтобы полнее ощутить себя на этом. А иногда готовила свое возвращение: объясняла подружке, что она у нее задержалась, просила у нее алиби. Я это слушал и знал, кто я в эту минуту, но молчал и ждал, когда она покончит с тем берегом и повернется ко мне:

— Ну что ты, чем тут занимаешься?

Весело улыбается, но достаточно внимательно инспектирует мой рабочий стол, особенно конверты и адреса.

— И все от женщин? Только женщины болеют?

— Просто они аккуратней. Наш брат вырвался и не аукнется, пока снова не привезут.

— К бочке мчится. Как некоторые курортники. Фу, не люблю старых холостяков!

Она еще улыбается, но уже не шутит: серые глаза темнеют под стать бровям, делаются такие женскиеженские, что я не выдерживаю и радостно хохочу.

— Лучше бы знать, что у тебя была и даже есть жена. Знала бы вокруг чего думать, злиться. А так — ничего не знаю о тебе. Мало что ты мне там нарассказывал!

Да, она искала и хотела видеть во мне того, прежнего, впервые влюбленного, застенчивого, начисто ослепленного, и справедливо подозревала, что прежнего уже нет. Искала и себя ту, бездумно, спокойно счастливую, которую я не сумел остановить в свое время.

— Остановишь тебя, — оправдывался я, — если ты как лунатик была: всему, всем блаженно улыбалась, а потом сразу — замуж.

— О господи, почему? Почему ты был такой нелепый? И почему теперь ты не такой? Лучше бы теперь, чем тогда.

И она и я чувствовали: любит, ласкает ее один человек, с неотступной, чистой памятью о прошлом. А слушает ее телефонные разговоры с мужем и подружкой, провожает ее до порога мужнего дома другой — позадержавшийся холостяк, возможно, и не очень в таких делах опытный, но с повышенным любопытством ко всему, что прежде его так смущало. Ох эти мне вначале и слишком долго застенчивые и нерешительные! Сколько даже не чувственности, а мужского любопытства насобирают они в себе за время своей сомнительной невинности. А на лице у такого, пусть невольная, бессознательная, но по-прежнему застенчивость.

Она это чувствовала, и после: «Мне так хорошо, когда тебе хорошо!» У нее порой прорывалось: «Я не хочу, чтобы даже со мной ты был такой! Сразу думаю о твоих других».

И тем не менее это было оно.

Теперь я лучше, чем даже тогда, понимаю, что это было. Что-то сложилось так, а не иначе в вечности, бессчетности, и двое встретились, хотя ни по какой теории вероятности не должны были бы. И вот ты — уже не ты, а единственный в мире. И не смущен этим, хотя тебя явно принимают за кого-то другого, хотя и понимаешь, отлично понимаешь, что ты лишь отражатель света, идущего из глаз, из глубины того, для кого ты — единственный. И не собой, не своими достоинствами, а его же светом ты его и слепишь. Вон как долго она не могла смотреть на тебя прямо — на ярко бьющее ее же лучом зеркало.

И все-таки получается, что ты — пусть лишь отражательно — все же единственный. Тысячи пересекают чей-то луч, но они точно прозрачные или не так поставлены, чтобы вернуть его назад. А в тебе что-то оказалось такое, ты поставлен, повернут так, что луч вернулся очень точно. И вот уже счастливая материя смотрит в самое себя так глубоко и так радостно, как только научилась она смотреть за всю человеческую историю.

Теперь я рассуждаю, а тогда ходил с такими же радостно ослепленными глазами, весь был направлен к ней, в нее.

(Далекая точка, которая все время остро светилась затаенной болью, начинает пухнуть и пульсировать под черепом, как свет на опасном перекрестке. Только бы не сейчас запустил он свое колесо! Но у моего Точильщика свое расписание. Ну хоть сегодня будь человеком, что тебе стоит!..

Если верна моя догадка, мои коллеги скоро получат тетради (как нарочно — в черном коленкоре: не Чехов, а Метерлинк!). Интересно, как они посмотрят на этот, не столько научный, сколько беллетристический, психологический случай. Рак — он бяка, но зачем стулья ломать! И без моего опыта известно, что в обычном смысле он не заразен. Правда, существует и вирусная теория, и если атаковать человеческий, именно человеческий организм в лоб — и пересадкой и введением фильтрата опухоли, — можно кое-что получить в пользу или против вирусной теории. Кому-то для чего-то, возможно, и сгодится. Ну, а что это: чисто научный опыт или чье-то нежелание до конца дней своих быть лишь в роли оглашающего смертные приговоры — это уже не главное. Не можешь помочь человеку — помоги хотя бы человечеству! Я, что ли, первый прихожу к этому? Чистые теоретики, наверное, удивятся моему поступку, плечами пожмут: мол, крайний случаи «онкологического пессимизма». Им что, они имеют дело с безликой «культурой» да с мышами, у них время не неделями и днями измеряется, а десятилетиями, их «материал» не смотрит с отчаянием и надеждой человечьими глазами, не рыдает

страшным голосом самого близкого в мире существа!.. Конечно, запиши я в свои «черные тетради» все, что было вокруг этого, что помню только я, возможно, и другим понятнее было бы. Но я не Чехов, это, как говорится, точно. В конце концов, немало опытов было и менее разумных, чем мой. Мало ли тех, кто бросался спасать все человечество лишь потому, что не умел или не мог спасти одного-единственного человека?

Правда, в моих тетрадях вычитают также и это: «А в конце концов!!! Когда я думаю об орущих толпах слепых фанатиков XX века, меня, ей-богу же, иногда перестает волновать, сколько их, больше или меньше, умрет от рака, а не от проломов черепа!»)

Мы с Женей по-разному любили наши встречи. Я — у себя дома, когда во всем мире наступает наша тишина. Она же — в городе, на улицах, чтобы было вокруг движение, голоса, краски. Обычно я сопровождал ее по каким-то ее газетным или даже хозяйственным делам. («А сейчас мы забежим в мастерскую, там моя любимая сумка, а потом нам только хлеб и колбасы с сыром купить, маме тяжело ходить, а Анька моя за своими соревнованиями позабудет...») Я высчитывал, сколько минут у меня есть, сидел на каких-то ящиках или кирпичах, пока она брала интервью у завконторой, у прораба или за дерматиновой дверью какой-нибудь директор «набалтывал» ей «свою» статью. Ждал и издевался над своей оболочкой солидного хирурга, злорадно пинал ее, представляя, как это может видеться со сторону.

Когда я сидел недалеко, взгляд Жени то и дело от интервьюируемого переходил на меня, счастливый и виноватый.

— Я не могу одна, без тебя, — жаловалась она так искренне и виновато, что я уже тоже только и думал, как бы выкроить полчаса, час, чтобы посидеть где-то и а кирпичах, под дверью, постоять у входа в магазин.

Еще зайдем только... Тебе некогда? Ну, не злись, не смейся так. Я и правда бессовестная. Тогда я с тобой в клинику. Ты не обращай на меня внимания, я тебя очень прошу.

Выходя через два часа из операционной, рядом с родственниками больного я вижу ее, встречаюсь с ее взглядом и, благодарный за этот подарок, тоже готов повиниться. («Я не могу без тебя...») Захожу в конференц-зал, а она уже среди студентов и тоже в белом халате. Читаю лекцию, и мои слова о зловещем перерождении клетки начинают звучать так, будто я только что нашел средство возвращать организму контроль над такими клетками, гасить цепную реакцию их умножения и сейчас сообщу об этом. А сообщить я мог лишь что-то чрезвычайно не новое: «Люблю, братцы! И какие вы все слепые, не

смотрите в ту сторону, а мне так трудно не смотреть!» И знал: сегодня скажу то, что давно должен был сказать Жене, кончится унизительная неправда и вина перед Стипендиатом.

Сказал наконец, а она глянула внимательно, так серьезно, как никогда не смотрела.

— Ты это для меня делаешь?

— Для нас.

— Ты думал слишком долго. Теперь я должна подумать. Господи, как хорошо, что ты сказал, даже если я теперь и не решусь, не захочу.

...И все оборвалось, остановилось. Как останавливается жизнь — внезапно. Но даже жизнь почти никогда не обрывается внезапно, во всяком случае всегда есть причина и начало конца.

Вот начало-то и ускользнуло от меня.

Любили человека неизвестно за что, и вдруг уходит это неизвестно почему.

Теперь-то я кое-что понимаю, а тогда ничего не замечал. Слишком поглотили меня в какой-то момент дела на кафедре и в институте. И не прямые дела, а как раз то, что работе мешало.

Завертелись эти мешающие делу дела не в один день. Но теперь я лишь отдельные звенья припоминаю. Накапливалось долго, когда я еще в ординатуре учился, а взорвалось, когда после защиты диссертация я отказался от заведывания кафедрой, но если бы просто отказался, а то посоветовал декану и своему всесильному заву вернуть на эту должность из провинции «вейсманиста-морганиста», которого они в свое время затравили так, что от человека большущий костистый лоб только и остался. (Помню и статейку Стипендиата в газете, очень негодовал, что некоторые «профессора» (в кавычках, конечно, — так их, так их!) вместо того, чтобы улучшать породы свиней и сорта помидор, забавляются с мышками да мушками.)

Напомнить декану про Георгия Тимофеевича означало нанести самую что ни есть личную обиду нашим Алехам. (И мой завкафедрой и декан — оба Алексеи Николаевичи.)

Завертелось, пожалуй, с этого: когда я задел их лично. Тогда-то припомнили мне и прежние грехи. На научной конференции (к тому же с участием студентов!) я неуважительно отозвался о «новом лысенковском» этапе биологической науки (на меня смотрели из аудитории, как смотрели бы на человека, тянущегося рукой к линии высокого напряжения), мало этого, так я стал еще рассуждать на тему, что, мол, всякая бесконтрольная власть опасна и для носителя ее, а «власть в науке», когда ее добиваются любой ценой и такими способами, убивает и ученого и науку.

Очень не по душе моим Алехам люди неудобные, не вполне согласующиеся с климатом. По их представлениям, человек обязан прежде всего «соответствовать», точно он мебель, габариты которой подгоняют под параметры дверных пролетов и лестничных клеток в новых домах.

А уж. как не соответствовал Георгий Тимофеевич!

В любое время есть такие люди, как Георгий Тимофеевич, которые словно специально для того и есть, чтобы само время не утратило настоящую меру.

Вначале для нас, студентов, он был просто честным, но жалким чудаком, цепляющимся за свои «гены». Но его уважали за протопопоаввакумовскую преданность идее, пусть и заруганной.

На грозных собраниях после сесии ВАСХНИЛ 1948 года студенты достаточно открыто выражали сочувствие своему «Генотипу», тощему, с квадратным, как ящик, лбом, хотя мало кто вникал в суть его научных идей. Знали, что он по-прежнему считает попа Менделя великим ученым, что он экспериментирует на мышах, занимается генетикой рака.

Ему сочувствовали уже потому, что слишком неравными казались силы: у его противников за спиной — стена, а он — в пустынном океане на жалких обломках разбитого суденышка. Когда с трибуны обрушивались громы и молнии, мы невольно смотрели на седую голову и уродливо лобастый профиль в первом ряду, как бы ожидая и тревожась, что он скроется под волнами.

Наконец декан, который вел собрание, спросил с вежливой угрозцей:

— Вы, Георгий Тимофеевич, имеете что сказать?

Алеха-декан и весь президиум собрания заметно напряглись, готовые тут же выдернуть опору из-под ног противника. Но теперь он уже был не на обломке, а словно на граните. Мне запомнились побелевшие от напряжения пальцы на углах кафедры и страшно спокойное лицо. Такие руки и лица я видел только на войне. Лица с чуть-чуть мертвой неподвижной улыбкой.

— Я испытываю, — очень тихо в душной тишине прозвучал голос, — большое чувство вины. Перед наукой: потому что я слаб защитить ее. Перед тысячами и тысячами, которые умрут, не защищенные наукой. Вчера человека, человечество, хорошо ли, плохо ли, но спасала близость к естественной биологической среде. Сегодня, завтра вся надежда на научную организацию общества и на науку: наука обязана поддерживать утрачиваемое равновесие. Против задымливаемого, засмоленного, засыпаемого атомной пылью

человечества с невиданной энергией двинулся в наступление рак. Это было всегда: смерть вооружалась новыми калибрами пушек, но жизнь тут же создавала новую броню. Я не касаюсь сегодня всего, о чем можно было бы спорить в нормальной обстановке. Я задаю лишь один вопрос: можно ли без изучения всей сложности механизма клетки, без генетики хотя бы надеяться, что рак будет побежден? Разоружаться, когда смерть вооружается! Да вы — позвольте и мне недозволенный прием! — хоть о детях, о внуках своих подумали?

На него прикрикнули, но взревел зал: «Дать! Пусть говорит! Вас не прерывали!» По тем временам это было неслыханно. Побледневший Алеха-декан встал — вскочили и другие. Но Георгий Тимофеевич не позволял ни заглушить, ни сбить себя. На выкрик второго Алехи (он стал потом моим завом): «Говорите прямо: как вы относитесь к исторической сессии?..» — оратор ответил все с той же неподвижной улыбкой:

— Да, сессия ВАСХНИЛ — исторический парадокс.

Никогда так больно не карала науку безграмотность, а ведь мы — страна сплошной грамотности.

Под забавное вставание всего президиума он закончил, обращаясь к нам:

— Человек есть человек, и у него есть будущее потому, что корни его не на поверхности. Желаю вам прежде всего — глубоких корней. Ведь каждого из вас жизнь обязательно проверит на прочность.

Потом я был у него дома. Так получилось, что задолжал курсовую по его спецсеминару, и, хотя зачеты по его курсам были отменены, я закончил работу и понес Георгию Тимофеевичу. Жил он в бараке, который называли «профессорским», хотя кроме Георгия Тимофеевича никто из преподавателей там уже не жил.

До этого я часто встречал Георгия Тимофеевича в нашем сквере; по вечерам он, по-детски оживленный, гулял с семьей. Помню, мне пришла однажды мысль, что трудная судьба таких людей полнее записана и читается на лицах их жен. И жены у них, как правило, строго красивые (или же красиво строгие).

На этот раз я застал его жену за странным делом. На ней был черный халат уборщицы, и занята она была тем, что из большой миски раскладывала какуюто кашицу в стеклянные и жестяные баночки, которыми был уставлен весь стол и даже табурет.

— Георгий Тимофеевич болен. Георгий Тимофеевич в институте не работает.

Голос и красивое лицо ее были совершенно бесстрастны.

Меня поразил совсем не комнатный запах, от которого в глазах защипало. Казалось, что даже выцветшие обои пропитаны им, как сыростью.

— Ко мне? — раздался голос за фанерной перегородкой. — Пусть пройдут, Сашенька. Кто это?

Я подошел к двери, не решаясь войти. Да и некуда было входить. Больной лежал на койке, низкая металлическая спинка которой почти загораживала дверь. Над головой у него — окошко, почти замурованное книгами и папками, слева у стенки — узкий диван с разбросанной по нему детской одежонкой; у противоположной стены — пирамида из ящиков-клеток. Клетки с мышами — до самого потолка. Вот что шуршит и так пахнет.

— Пришлось немного приболеть, — всматриваясь в меня, пояснил профессор. Он совсем исхудал: квадрат лба стал еще заметнее, как лесная поляна осенью, а кисти рук еще крупнее.

— Курсовая? — спросил он весело-удивленно, но и радостно. — Ага, понимаю. Канцелярский механизм не поспевает за победным шествием лысенковской науки. Обождали бы немножко, «хвост» этот сам отвалился бы, но раз уж принесли...

Человек так держал и так радостно смотрел на мою жалкую тетрадку, что было неловко. И было противно осознавать в себе невольное чувство превосходства над ним: превосходства атеиста над верующим. Свою пустоту я воспринимал как легкость свободного парения, как чувство простора, а он виделся мне огромной, но разбившейся о скалу птицей, хорохорившейся и оттого еще более жалкой.

Я невольно уводил глаза, а он, следя за моим взглядом, пояснил:

— Просил мышей оставить в институте. Их кормить надо. А у меня... Я, видите ли, и сам теперь... И вентиляция, сами видите, какая. Оказывается, не нужны. А это же чистолинейные мыши, десятилетия потрачены, чтобы отобрать, вывести эти высокораковые линии! Я их в эвакуацию возил. Представляете: в огромном таком чемодане. Только на таких мышах возможна чистота эксперимента! Вот те, беленькие, дают девяносто пять процентов заболевания раком молочной железы! А черные — восемьдесят. Раком легких. Вызвать же у белых рак легких, а у этих — железы несравненно труднее. Наследственность — это вам не таракан начхал! Конечно, честолюбцам куда удобнее мыслить по Ламарку и Трофиму Лысенко, а не по Менделю и Марксу; подул ветерок — и новый тебе сорт, порода. А не поспевает жизнь за твоим воображением — виновата жизнь, виноваты люди, и поступай с ними соответственно.

Вошла жена с фанеркой на руке, как подносом. Быстро открывала кормушки и ставила туда баночки.

— Извини, но это последнее, что оставалось, — спокойно сказала, не взглянув в нашу сторону.

— Как-нибудь, Сашенька. Обсудим это потом, какнибудь... Понимаете, они, оказывается, ужас какие прожорливые.

Когда женщина вышла на улицу, Георгий Тимофеевич сказал:

— Не знаю, как ее убедить, что рак не заразен. Но и то сказать: мало нам известно, и, главное, она — мать и имеет право мне не верить. Днем гонит детей из дому, а по ночам совершенно не спит.

Внезапно я понял, что не уйду, не могу просто так уйти. Предложил: у моего приятеля — он на окраине у родителей живет — есть отличный сарай. Мы с ним великолепно в том сарае жили, когда у меня были неприятности из-за Гриши-философа и не было общежития. К тому же у Жоры есть корова! Будто специально для мышей. Целый месяц наших каникул мы израсходовали на сено: косили и сушили на болоте...

Я так радовался удачной мысли, что настроение мое передалось и Георгию Тимофеевичу. Но он быстро спохватился:

— Мы, кажется, и масло уже сбили из чужого молочка?

— Да Жору только завести, он же ваш тезка! — радовался я, сам уже заведенный.

...Да, обязательно позвоню Георгию-2. Беспомощный на вид очкарик, а цепкий, как черт. И злой. Как он меня отделывал, когда, уступив Алехам, я ушел из института, уехал. Нажаловался на меня Георгию Тимофеевичу, и тот мне тоже написал из своего городишка: «Моя судьба заразна. Вот и на вас перекинулось».

Когда поеду обратно, обязательно загляну в тот тихий городишко. Про тишину Георгий Тимофеевич несколько раз упоминал в письмах, когда его стали снова звать в столицу. И про то, что у него отличные молодые помощники, с которыми он подготовил несколько серьезных отчетов об опытах. Два раза в его письмах повторилась фраза: «Все-таки я прожил свою жизнь, не чужую». Посмотреть, как тут развернулся наш Георгий-2. Санинспекцию на него все насылали, но он и это сумел повернуть на пользу делу. Чтобы выселить цепкую, молодую группу опухолевой генетики из общего здания вновь открытого института, начали наконец строить виварий. «С их зарплатой и я бы боялась заразы!» — так разъяснила ситуацию тетя Паша, которая присматривает за мышами. Письма Жора пишет всегда с диалогами...

Когда думаешь о таких людях, как Георгий Тимофеевич, лучше сознаешь, до чего же это важно: прожить именно свой вариант. Пусть с падениями, отклонениями, но свой. Гладкий, пряменький, но не свой — будто и вовсе не жил человек.

Страшно: вытянуть у бесконечности редчайший дар — жизнь, и потом пройти ее чужой дорогой. А твоя тропинка так и останется непройденной, никто и никогда уже не проделает, не протопчет ее.

Во сне у меня часто немеют мизинцы, именно мизинцы. А однажды проснулся и вдруг понял, что нет правой руки. Торопливо шарил левой и наконец нашел над головой. Снял с подушки вялый, набитый тяжестью рукав и положил на себя: с отвращением, почти ужасом чувствовал и растирал на себе мертвый посторонний предмет.

Вот такой чужой, посторонний сам себе делается, наверное, и человек, если вдруг поймет, что прожил не свою жизнь. Оттого-то некоторые так резко меняются к концу пути. Раньше это называлось: «Бога вспомнил».

От чего все-таки зависит вариант? Их бессчетно много перед каждым человеком, но это множество разложено лишь в две кассы: свой и не свой.

На роду, в генах записано?

Что-нибудь да значат случаи, когда давно потерявшие друг друга близнецы шли по жизни и кончали жизнь удивительно похоже и синхронно.

А еще: на годовых кольцах раннего сознания. На них тоже записана программа нашего варианта.

Но это лишь компасная стрелка. А магнитное поле, по которому себя сверяем, — вне нас. Потому-то у человека есть возможность искать и находить свой путь.

Чем легче поддаешься давлению, чем чаще поступаешь, не заглядывая в себя, тем большая вероятность, что берешь не из той «кассы», все дальше отклоняешься от своего варианта...

И сейчас в глазах стоит деревня, в которой был месяц назад. Она отстроена и заселена вышедшими из лесов партизанами. Прежняя деревня и ее жители записаны на трех огромных плитах: столбцы по 20, по 50 одинаковых фамилий. Узкие или пошире столбцы — в зависимости от количества букв. Сгорели в домах семьи, целые деревенские роды...

Двадцать лет — пока лег на камень — этот список терпеливо держало в руках время.

А где-то в сейфах лежат списки палачей этой деревни и еще сотен белорусских Лидице.

Да, много их — списков, свитков, которые можно увидеть и которые видеть невозможно и никто никогда не увидит. Бессчетно много, но и их время раскладывает лишь на две стороны: все, кем жизнь жива, и — палачи, губители жизни.

В каком списке, такую жизнь и прожил. Другой не будет. И списков только два, сколько бы и какие бы хитрецы ни сочиняли их.

...О, в прозрачном домике моей маленькой соседки уже люди живут. Они, правда, не помещаются под крышей и все нарисованы рядом с домом. И мимо нас люди проходят. Эта старая женщина с черной собачкой японской породы второй раз появляется. Женщина на нас не смотрит, зато тупая, как дверной звонок, мордочка и круглые глаза «японочки» — на уровне сидящей на корточках девочки. Они внимательно друг друга рассматривают.

Девочка уже рисует собаку, такую же большую, как ее желание забрать себе «японочку».

Меня же, негодная, не рисует. А я готов быть окном, стулом в ее прозрачном доме. Вначале хоть отвечала на мою заискивающую улыбку, а теперь даже не глядит в мою сторону.

Надоел ей этот дяденька. Да я и самому себе не нравлюсь, девочка! Одни неудобства мне от самого себя.

...Самое смешное, что мой неудобный характер не столько «от природы», сколько «из-за принципа». Было когда-то такое выражение. Потом оно стало звучать так: «Я не пью с сиропом из принципа». Но выражение все равно мне нравится.

Вот и кафедру я не взял «из принципа». И многое другое — тоже «из принципа». Это и есть главный принцип: не брать того, чего очень хочется, с чем трудно будет расстаться.

Легко на эту тему философствовать теперь, сидя на скамеечке. А тогда было и не просто и не очень, если признаться, весело. Не трудно не взять и даже отдать из принципа, но ведь потом приходится многое назад вырывать из чужих рук, уже измятое, захватанное, потому что, оказывается, без чего-то и ты не можешь. Ведь если Стипендиаты забирают, то забирают все, глотка чистого воздуха не оставляя. Да, ни карьера, ни тем более «власть в науке» меня не поработили. Но какой ценой я этого избежал? Сколько раз я вынужден был возвращаться за тем, что сам же, вроде добровольно, оставил! Не слишком ли дорого заплатил за право не брать? И где граница между твоим принципом и обыкновенной трусостью перед жизнью? Что, и это из принципа: провожал ее к мужнему порогу вместо того, чтобы сразу решиться? А потом ах как удивился:

внезапно, неожиданно! Еще удивительно, что Женя так долго сохраняла свою чистую радость.

И даже уходя из института и клиники, отдал ты больше, чем требовал твой принцип.

Да, я не позволял себе дорожить местом в институте (хотя и любил встречи со студентами). Но я не мог позволить вытолкнуть себя легко. Чтобы не нарушилось где-то равновесие в пользу таких, как эти мои Алехи. (Я их объединял в одном имени: и декана, и его зама, и своего завкафедрой. Двое действительно Алексеи.)

— Алексей — значит помощник, — любил порассуждать мой завкафедрой. Звучало это у него с угрозцей и означало скорее: «подручный».

Пощады ждать можешь от кого угодно, только не от подручного.

У моих Алех были свои мотивы, побуждавшие их гнать меня, как волка. А возможно, и не очень определенные мотивы, а всего лишь ощущение опасности. Так стараются избавиться от чрезмерно высокой температуры, хотя и не понимают еще, какая болезнь.

Вначале велась тихая осада: с пороховыми тоннелями, отравленными источниками, дипломатическими маневрами.

Мои противники не знали, чего хочу я. А поверить, что в их смысле я не хочу ничего, они просто не были способны. Зато я точно знал, чего хотят они, — в этом было преимущество моей позиции.

Вначале мне весело было воевать с ними. Правда, порой делалось не по себе, почти страшно — это когда я представлял моих Алех во времена прошедшие, а на своем месте человека, для которого институт — это кусок хлеба для семьи.

Алех своих я знал неплохо, знал, что такое каждый из троих.

Алеха-1. Я и сейчас будто вижу серый мрамор римского профиля в нейлоновом воротничке, осторожные движения прислушивающегося к своему сердцу человека. Где бы ни сидел и даже на ходу — палец на запястье, а глаза скошены на секундную стрелку. Трагедия напуганного человека, но выглядело это, как у модницы, занятой лишь собой. И улыбка у него тихая, осторожная, всегда из-за стола, потому что в коридоре он никогда не улыбался. Человек поднялся до деканского кресла во времена, когда другие падали, он уже готов отдать себя и более высокой должности. Но климат изменился; стараний подручного мало, нужна ученая степень. Даже чтобы удержаться, нужна позарез. Человек застыл, опасаясь любых движений, особенно — резких суждений, поступков людей. От прежнего декана, когда он еще жил в полный разворот, осталось лишь хобби: журналы французского фото. Случалось, что положит да и

забудет в журнале нужный документ. Ищет, а сам незаметно отстраняется от посетителя, как выпивоха-шофер от сотрудника ГАИ.

Всю работу тянул Алеха-2, его заместитель. Великолепный мастер «заанкетных дел». За любой анкетой человека видел, как рентгенолог. «Не пройдет!» — и точно: не проходил человек. Считал святым долгом своим об этом позаботиться.

Но оба эти Алехи — лишь фигурки. Фигурой был Алеха-3, мой завкафедрой.

Этот хотел большего, чем безбедно прожить или удержаться на обретенной ступеньке. Тем более что звание профессора имел. Но в смысле не профессиональном, а общем — он из породы земноводных. Живой термометр, по которому можно судить об окружающей температуре.

Поскольку его противники — чаще всего люди наивно-беспечные, погруженные лишь в работу честные простаки, Алехе-3 совсем нетрудно было пережидать неподходящую для него полосу климата. Достаточно было перестать грызть их, и честные простаки начинали относиться к Алехе-3, как относятся к снегу в апреле. Что его счищать, сам растает! Но снова начиналась «алехина» полоса, и кафедра менялась, как лес осенью: вначале делалась пятнистая (прежние работники плюс работники новые — «его»), а потом его цвет становился господствующим.

Наконец Алеха-3 взялся за остаточное, последнее пятно — за меня.

О, это было здорово — наблюдать за их умелой старательностью, замечать, как в нужный момент передавали они друг другу инициативу и гнали, гнали намеченную жертву.

Для чего это мне надо было — веселиться, хотя совсем не весело? Пунктик, не иначе. Был он у меня — свой пунктик. И своя в этом есть тактика.

Мне особенно последние месяцы войны помнятся, когда мы уже затеснили немцев за Вислу, но численного превосходства на нашем участке фронта не имели. Много крови утекло за три года войны, и мы — недавние партизаны и мобилизованные, да несколько ветеранов-усачей из-за Смоленска — сидели в окопах один за пятерых. Перебегали от пулемета к пулемету и обстукивали весь горизонт, делая вид, что нас все еще по-азиатски бессчетно.

Это очень важно, чтобы не могли сосчитать. Алехи боялись меня, пугала их непонятная веселость человека в обстоятельствах совсем не веселых. Наверное, думали: значит, кто-то, что-то есть за ним.

Подумать, так и впрямь: что за партизанщина! Это в наше-то время? Так-то оно так, и время другое, люди меняются, но есть вещи обязательные для всех времен. Я был уверен (да и теперь тоже), что если кто-то не будет сам, притом всегда, не дожидаясь (как отдергиваем руку от горячего), не будет немедленно реагировать на Алех, на их цели и средства, если каждый не будет действовать так же рефлекторно и постоянно, как действуют они, мало что переменится даже в изменившемся мире. Сколько высоких идеалов испарилось в мир утраченных иллюзий только оттого, что стремление Алех самых разных калибров обрести власть над другими давит на жизнь, на историю постоянно, как атмосферный столб, а самоотверженность людская, готовность противостоять, рискуя всем, существует хотя и вечно, но порывами, как ветер. А важна именно постоянная готовность отказаться от многого. Но это трудно — отказываться, когда уже взял, привык, прирос. Легче — вовсе не брать. Ничего не брать, от чего нелегко отказываться. Ну, а если все не будут брать! Должна ведь жизнь и обычным своим ходом идти. А для этого хода, возможно, и Алехи — как песок для трения, лучшего сцепления. Так что не о всеобщем: «Не бери!» может идти речь. Вовсе не об этом. Автора «Крейцеровой сонаты», веселясь, побивали неотразимым, как некоторым думалось, аргументом: «Ну, а если все откажутся от постели, как род человеческий будет продолжаться?» Но не об этом вовсе хлопотал суровый старик. Детей иметь — кому ума недоставало? Бояться, что кто-то уговорит людей не спать или не брать — этого бояться, слава богу, не приходится. Но если в направлении «спать» и «брать» еще и подталкивать себя и друг друга, а не в обратном, куда, в какие овраги закатимся?!

Пока я веселился с Алехами, неожиданно, неизвестно за что подаренная мне любовь Жени стала иссякать, как кровь, как жизнь в пораненном теле.

Не так это ново в мире, и вовсе даже не ново, но для каждого — будто первый, в ранимом детстве, обман. Неизвестно за что любят, а потом неизвестно почему уже не любят. Вначале света столько, что кажется, никогда не наступят сумерки. А потом, наоборот, не верится, что было так светло.

Грели чьи-то лучи, светили прямо в глаза, ты уже привык к себе самому — купающемуся в свете. И вдруг убрали свет. Каким болваном, требовательным, капризным, делаешься, точно и в самом деле тебе должны. Когда-то был счастлив, что она просто живет, улыбается всему миру, но остановилась на тебе, и ты уже требуешь: все или ничего! Это всегда было. Как ребенок оно, то, что называют

любовью. Именно самую мелочь и не хочет отдать. Скорее от всего откажется, задыхаясь от слез, чем пожертвует самым малым.

Да разве такое вынесет человек?! Вот такое:

звонила каждый день, хотела каждую твою минуту знать, и вдруг — не звонит, не ищет и день и три;

то вспыхивала счастливым румянцем, и вдруг — серая, скучная, ушедшая в себя;

тащила тебя, куда только могла, и вдруг — и без тебя уже может;

был ты ей нужен весь, всегда, каждую минуту, это даже утомляло, и вдруг...

И вдруг — будто ничего и не было!

— Если будет время, позвони.

Прежде и думать не позволяла, что у тебя может не быть для нее времени.

А потом была та дождливая, казавшаяся бесконечной, как целая жизнь, встреча: она, ты, как опоенные, чужие, несправедливые, но все равно, как приросшие друг к другу, и резкое движение каждого болезненно для обоих. Ходили по грязным улицам с мокрыми, холодными лицами, руками, время от времени Женю надо было брать за рукав, чтобы не попала на переходе под машину. Забрели и в этот сквер, она села на скамейку, заляпанную мокрыми листьями, достала из сумки платок: слезы и дождь капали на рукава пальто.

— Видишь? Мне лечиться надо. Врач!

Слезы вместе с дождем текли по озябшему, некрасиво чужому лицу, а она говорила, говорила, уже ненавидя все, что было, готовая даже теплые угольки растереть в сажу.

— Я ничего так не хочу: чтобы не было этих проклятых месяцев! Тогда бы не было теперешней черноты. Молоденькие дурочки у нас на работе слюнявят: «люблю», «любит», а меня тошнит от самого слова, как беременную от сладостей.

Слезы ее были единственным, что связывало ее с нашим прошлым, и я хотел их, любил только их.

Потом мы оказались в кафе. Пока я заказывал ужин, она стояла у зеркала, приводила в порядок волосы, глаза. В своем вязаном, кофейного цвета костюме она была совсем-совсем прежняя. И легкие движения рук над волосами и наклон к зеркалу — такие знакомые, прежние.

И все не верилось, что прежнего уже нет. Смотрел на нее из-за стола и помнил, как зимой помчался за город к ней. (Она проводила воскресенье на даче.) С утра было солнце, и я, схватив лыжи, сел в электричку в одном лишь свитере да берете. Ходили с ней до поздней

ночи по лесной лыжне, а сбоку, как волки, бежали, жадно и радостно дыша и нюхая, две собаки, которых мы приманили бутербродами. Вначале я провожал ее, но в дом не пошел: легче было перенести обиду Жени и торчать за калиткой, чем бездарно играть перед ее матерью роль невинного знакомого.

Потом Женя пошла меня провожать. Среди поля, на облизанной морозным ветром пустынной платформе, дожидались последней электрички. Простояли полчаса, и я понял, что замерзаю. Самое смешное было, что я на самом деле окоченею: не война, в сорока километрах — моя квартира с теплыми батареями, в двух шагах дом «тещи», но еще полчасика — и я буду готов. Тридцатиградусный мороз будто раздел меня догола. Я не чувствовал на себе и ниточки, а воздух был, как настывшее железо.

Начал дурацким смешком отвлекать Женю от себя, но голос у меня, разговор, наверное, получался странный, потому что она вдруг охнула, распахнула шубу и обхватила меня со спины, будто закрывая от опасности. Ладонями растирала лицо, грудь, а ртом дышала, дышала, в спину сквозь свитер, и он снова из металлической сетки превращался в теплую шерсть. Повернула меня к себе грудью, заставив бросить лыжи, но я уже оттаял настолько, что мешал ей меня спасать, целовал родные, в слезах глаза, а она ругала меня, себя, нашу обидную любовь, однако успевая и на поцелуи отвечать.

От зеркала Женя пришла чуть другая, как всякая красивая женщина, внимательно себя рассмотревшая. Впервые за весь день улыбнулась, но еще не мне, а свету, уюту.

Она через что-то перешагнула, и, казалось, все вернулось, но, мы уже смотрели в себя и друг на друга с тревожным ожиданием. Мы уже знали, что будет второй удар. Но не подозревали, какой страшный он будет и с какой стороны.

А дела в институте и клинике шли в том же русле. Алехи теснили меня столь дружно, что из их стенки порой кто-либо вылетал на открытую площадку, смущенно и испуганно оглядывался и быстренько возвращался в общий строй.

Алеха-1 предпочитал действовать способом задушевных бесед. Я охотно в них участвовал: с чувством зверя, который вдруг начал бы изучать различные системы ловушек, капканов, в которые попадаются его сородичи. Он зазывал меня в кабинет и тут же спешил за стол в кресло («Граждане, пристегнитесь! Взлетаем!»), но не садился, а какое-то время был устремлен мне навстречу: глазами проследит, куда мне сесть, и вроде даже пыль смахнет взглядом с сиденья стула.

Приходится признаться самому себе, что перед породистой вежливостью и уверенностью этого человека я терялся. Даже анфас угадывался величавый римский профиль, когда он сидел за своим массивным столом. Меня преследовала мысль, что он надевал свой торжественный профиль вместе с галстуком — после того, как почистит зубы.

Тем временем Алеха-2 занимался делом, все мял, мял мою анкету, твердо убежденный, что через нее лежит путь к сердцу человека. Он уже высказался где-то в том духе, что хотя его (т. е. мой) отец и реабилитирован посмертно, но это еще ничего не означает: «Мало ли успели навыпускать!»

Однажды догнал меня в коридоре, взял под руку и деловито направил в свой кабинет. Щелкнул дверным замком, точно мы собираемся «сообразить на двоих», сел на стул для посетителей и меня усадил. И тут же показал бумагу, словно из рукава выхватил.

— Мы вот нагрузку изучали: ваш курс лекций надо расширить. Или взять еще один. Сами знаете — бухгалтерия! Все под ней ходим. Срежут единицу, а потом доказывай.

Такого изгиба в их линии не ожидал. Раньше они непрерывно урезывали да сокращали меня. Я рассматривал цифры на бумажке и чувствовал на себе охотничий взгляд, почти умоляющий: «Ну еще шажок!»

— Что ж, расширяйте, — сказал я.

— Вот и чудненько! Глебову давно пора на пенсию.

Ага, вот в чем фокус! Мною хотят вытолкнуть старика: и его единица кому-то понадобилась. Бросают мне спасательный круг, набитый камнями.

— А я, знаете, думал, что вы про этот, он вроде ближе к моему профилю, — огорчился я, подчеркнув ногтем курс, который вел мой собеседник.

Не проходило дня, чтобы не изобреталось что-либо новенькое. И все та же стойка, умоляющие глаза: «Ну попадись, ну что тебе стоит!» Срывалось, и я, могу поклясться, видел, как Алеха-2 с четырех лап поднимался на две, поправлял галстук, и мы выходили в коридор к студентам.

Совсем по-другому вел себя Алеха-3. Завкафедрой и в таком деле новшеств не признавал. Его способ — комиссии. Ты сделал операцию — мы позвали комиссию. Хорошо, правильно сделана операция, ну, и ладно, мы рады, что ошиблись. Зато теперь никаких разговоров, можешь работать спокойно.

Но непосредственность свою, почти детскую, побороть он никак не мог, мой главный Алеха. Стоило появиться мне в клинике, как лишаисто-красное лицо его, подчеркнутое белизной халата, делалось обиженным, а голубой, телевизионно мерцающий взгляд, как холод из-под двери, проходил где-то по моим ногам.

Наверное, долго бы им еще со мной мучиться, но случилось такое, что сразу придало всему другую стремительность.

Тот звонок — обыкновенное телефонное дребезжание — в моей памяти, как звон колокола.

— Миша, это я... — она звала меня и рыдала, как рыдают женщины у морга. — Аня моя... у нее... На тех соревнованиях она упала с велосипедом...

— Сотрясение мозга, но легкое же, — помог я договорить: рыдания мешали ей.

— У нее большое пятно на левой лопатке... С рождения, как у отца... Она его повредила, и вот теперь... Стало болеть... Посмотрели и сказали... Приезжай в Центральную клинику, она там, скажи ты...

Она так и не произнесла страшное слово.

У Ахматовой есть стихотворение: когда железными гвоздями пробили руки и ноги сына женщины, люди в состоянии были смотреть на муки сына, но никто не решился взглянуть туда, где была мать.

А мне в течение стольких дней надо было смотреть, и это было лицо, глаза Жени! В памяти эти дни — как нестерпимо режущий свет: вспыхнет — тут же отвернешься.

Аню положили в наше отделение. Она все еще не понимала, что произошло: трудно в неполные пятнадцать лет поверить, что тебе в плечо вцепилась черной лапой сама смерть и уже не отпустит. Меланосаркома по-прежнему неизлечима, мы способны лишь усыплять боль да с помощью облучения оттягивать неизбежное.

Каждый день приходила Женя, иногда с мужем, мы сидели у постели девочки, и ничего, кроме апельсинов, бессилия и задавленного ужаса, не приносили с собой. Болезнь все глубже вгрызалась в организм, девочка с трудом просыпалась после частых уколов, откуда-то издалека смотрели на нас, неохотно возвращаясь к сознанию и мукам, ее глаза.

А потом в коридоре, в кабинете Женя билась в рыданиях:

— Неправда! Неправда! Что-то же есть, вы просто не знаете! Все, что надо, муж достанет! Все, что только мыслимо! Ну, скажи — что?!

Она таяла еще быстрее, чем Аня, и слегла бы уже, если бы не безумная надежда на возможное чудо.

Получилось, что отчасти я сам посеял эту надежду.

Тогда я сильно был захвачен идеей стресса — стимуляции и включения скрытых сил, возможностей человеческого организма. Рассказывал Жене про то, как женщина-японка подняла тяжелый автомобиль, придавивший ее ребенка. Про случаи, которые сам наблюдал на фронте. И про то, как моя мать согнула железо, которое в обыкновенном, в нормальном состоянии пятерым мужчинам не согнуть.

Меня постоянно преследовала мысль, надежда не столько ученого, сколько мучимого своим бессилием практика-хирурга: нельзя ли электрическим и химическим воздействием на эндокринные железы и на определенные нейронные участки мозга, на «гипоталамус», включать эту дремлющую в организме сверхсилу? И не позволит ли это делать операции, которые мы сейчас предпочитаем не делать, чтобы не провоцировать новые метастазы! Против ослабленных скальпелем, но и опасно потревоженных опухолевых клеток заново мобилизовать иммунные силы организма. Ведь главное наше несчастье в том, что хотя иммунитет против рака и существует, но он слишком слаб и не стоек. Хуже того: побежденные стремительной ордой защитные антитела превращаются из противника в союзника, личную охрану раковых клеток. Совершенно как те свободные племена на пути татарских орд, которые вначале боролись с нашествием, а потом, побежденные и поглощенные татарской силой, делались ее частью.

Идея и надежда была слишком общая, смутная, но мы с Жорой пытались экспериментировать в этом направлении в его домашнем виварии. Без конца приставали в письмах к Георгию Тимофеевичу. Он нас осаживал на землю, но не добивал. Основную, дальнюю мысль — как общее направление — он не отрицал категорически.

А для меня наша мысль, идея была как глоток воздуха, без которого невозможно, невыносимо вот сейчас, в это мгновение. Потерять ее было страшно.

Женя словно оглохла от одного лишь намека на какую-то надежду. Моих запоздалых, испуганных объяснений она и не слышала. Она уже не могла не смотреть в ту сторону, как не может не смотреть заваленный в шахте человек на искру светлячка, хотя и знает, что это не наружный свет.

— Нет, нет, все будет хорошо, я знаю, я убеждена, ты же не сделаешь, чтобы она умерла, ты не можешь сделать!

Это была ее жестокость. Но чего хотеть от задавленной ужасом, горем матери? Чтобы она сама решила, чтобы заранее согласилась на смерть своего ребенка? Взяла на себя ношу, которая для других тяжела, а ее, мать, раздавит?

Просто подло требовать этого.

Я решил поговорить с мужем.

За все эти недели я сам состарился внутренне, прошлое виделось, как что-то очень далекое, давнее, просто нереальное. Потому с ним разговаривать мне было совсем не трудно.

Беда не то что согнула, но как-то скомкала и этого человека — лицо его, всю его добротную фигуру. Он ходил, смотрел, разговаривал с непривычной в нем робостью, каждой санитарке торопливо уступал дорогу, место, точно они — секретари кого-то недостижимо высокого.

Я сказал ему прямо: Ане жить не больше двух месяцев. Смотрели многие, все на этом сходятся. Случай, к сожалению, однозначен. Шансов нет, если не считать одного из тысячи, который, возможно, заключен в наших опытах.

Он молчал, опустив голову и глаза. Спросил вдруг каким-то прежним голосом:

— Нужна моя подпись?

— Подпись?! Да, существует правило. Но не в этом дело. Я хотел бы обойтись без формального согласия матери. Шансы ничтожные, и она будет только себя винить.

— Ничтожные? — спросил он, даже строго спросил.

— Да. А без операции — никаких.

— Вы — специалист, вам и решать. Мы в своем деле тоже...

Я уже не слушал его, обдумывал операцию.

С этого дня я разговаривал больше с Аней. Мы с ней сильно подружились, и вначале ее фамильярный тон даже смущал родителей.

— Аня, ну как ты можешь? Михаил Гаврилович все таки профессор, — пыталась улыбнуться Женя.

Последние дни перед операцией девочка лежала затихшая и, не замечая своих слез, плакала.

— Это правда, — спросила у меня внезапно, — что я через 12 дней умру?

— Кто тебе сказал? И что это за цифра?

— Я спала и считала. Дошло до двенадцати, и умерла. Мама крикнула, и я проснулась. Еле проснулась.

— Завтра наш день. Ты не забыла?

— Маме не говорите.

Когда ее распято, лицом вниз, привязывали к столу, она вырвала лицо из рук медсестры и еще раз глянула на меня: это был взгляд на отца, чтобы убедиться, что он, который спасет, не предаст, что он здесь.

Единственный в моей жизни взгляд как бы родной дочери...

А я — со всей нашей аппаратурой — был беспомощнее, чем когда-то, во время блокады, наш партизанский врач. Он, по крайней мере, знал, чего у него нет. У него только и была пила-ножовка да щепоть соли вместо йода, и он, как о спасении, мечтал о самогонке, чтобы оглушить оперируемого, а заодно и хлопцев, которые с перекошенными лицами, навалившись, держали своего товарища, пока ему отпиливали ногу... Но тот врач, по крайней мере, знал, что ему надо, чего у него нет.

Аня умерла спустя месяц после операции. Вначале даже я надеялся. А Женя была просто уверена, что самое ужасное позади. Аня и правда ожила вся, болей уже не было. Только она почти не спала, но это мог быть результат нервной стимуляции, которую мы применили.

Теперь уже я видел Анины сны. Будто мы с ней взбираемся на айсберг, скользкий и почему-то теплый. И считаем. До десяти и потом снова с единицы. И все соскальзываем книзу. Я подталкиваю ее в голые ступни, ей щекотно, и она смеется. Уже до перевала доползли, она легла на ребро льда, просвеченное, как матовое стекло лампы, в последний раз оглянулась на меня — лицом Жени, ее улыбкой. И вдруг соскользнула на другую сторону — протяжный крик Жени!..

Первое, что я услышал от Жени спустя месяц после похорон:

— Если бы это был наш с тобой ребенок, ты бы экспериментировал? Как на кролике.

Мы встретились на улице возле клиники: она поджидала меня у ворот. Передо мной стояла больная женщина с чужим недоверчивым взглядом и подергивающимся от непрерывного внутреннего рыдания ртом.

Я хорошо знал, какие идут разговоры и бумаги, понимал, как должна все видеть мать умершей, и потому был бесконечно благодарен ей за этот вопрос. В бессмысленном упреке матери мне слышалось страстное нежелание Жени возненавидеть меня.

— Да, если бы она была наша дочь — тем более. А если бы на себе — и вовсе не задумывался бы!

Слово было сказано. Как только я услышал себя, я понял, что именно об этом, только об этом я и думаю все последние дни и недели, удивляя разные комиссии своим отсутствующим видом.

Я не просто привел в исполнение смертный приговор ребенку, который смотрел на меня с таким доверием. Казалось, убита сама идея, надежда, смысл дела.

Десятки врачей, даже когда можно было обойтись без этого, производили на себе рискованнейшие опыты. Холера, чума и тот же

рак... А в моем положении и при моем настроении — это был просто выход.

Имея идею и метод, получить еще и собственную болезнь — что еще нужно экспериментатору!

Теоретически такая перепрививка неосуществима. И даже то, что я потом заболел, ничего не означает: я мог заболеть своим чередом. Против чужого рака наш организм достаточно вооружен: антитела борются с чужим непримиримо и до конца, как и со всякой чужеродной тканью.

И все-таки вирусная теория существует, и никто ее не опроверг. А я эту теорию ощутил почти как физическую реальность, тяжесть, когда носил на плече надрез с перепривитой опухолевой тканью, а на бедре чувствовал ожог укола. Я не только ощущал, но и просто слышал, как эти никем еще не открытые вирусы волчьими стаями, с голодным воем носились в моих просторах...

В моем желании обязательно проделать это — если смотреть издали, отсюда — логики не очень много. Ну, а какая логика была в поступке нашего партизанского разведчика, который, расстреляв все'Пистолетные патроны, вдруг поднялся из-за укрытия и стал выламывать из плетня жердь? Раненому, в горячке, ему, наверное, почудилось, что это обыкновенная деревенская драка...

Меня вызывали, спрашивали по делу, а я спешил, словно тоже в горячке. Я знал точно, на сколько времени хватит моей решимости, и спешил. Чтобы не дать себе времени раздумать, отступить, отказаться. Я словно затаптывал в себе что-то, как в детстве однажды затаптывал присыпанные землей живые слепые комочки... Кошка привела столько котят, что они все время пищали и расползались голодные. Я подкармливал их с пальца, возился с ними без конца. А из школы принес двойку. Отец, который в те дни приходил из гаража подавленный, расстроенный, вдруг побил меня. Впервые в жизни. И приказал закопать «эту дрянь». Оглушенный обидой, ненавидя себя за то, что я делаю, а живые комочки за то, что они такие беспомощные, что мне их так жалко и так нехорошо, я проделал все спеша, не давая себе опомниться, и даже ногами стал на засыпанную ямку, чтобы скорее кончилось. И вдруг земля зашевелилась подо мной, накренилась — я упал.

Очнулся в постели под виноватым взглядом отца. Он держал на коленях кепку, ему надо было бежать на работу.

— Прости, сынок.

Я с тревогой, испугом огляделся. Я боялся увидеть мать.

Последнее действие в институте началось, когда герой явился на сцену, неся в себе свой эксперимент. Весь повернутый в себя, герой уже плохо слышал внешний мир.

Алехи не дремали, настигли тут же. Меня зазвал в кабинет декан. Римский профиль был мраморный, как никогда прежде.

Я заходил — знал, садился — знал, кто передо мной, с кем дело имею. Но перед гипнотическим сеансом человек тоже понимает, что из него хотят сделать безвольного болвана, но зто не каждому помогает.

— Очень сожалею, что так случилось... — начал он голосом рока из античной трагедии, но закончил с внезапной доверительностью: — Неосторожно и, простите, неразумно экспериментировать на родственниках номен...

— Бумажка у вас имеется? — спросил я так, словно сомневался в этом.

Алеха-1 закончил на полуслове, как получивший свой пятак лентяй-нищий. Бумага уже лежала предо мной. Какое-то мгновение я смотрел на чистый лист — Алеха даже забеспокоился, не расхотелось ли мне. Но я смотрел и думал, что самое превосходное — это когда всякий раз чистый лист, когда следующий шаг, следующий день начинаешь так, как хочется тебе. И не важно, что кому-то кажется, что это он тебя гонит в ту или другую сторону. Когда все твое — при тебе, в тебе, решаешь в конечном счете ты сам. Уезжаю — значит превосходно. Сам хочу этого. Потому что начинается чистая, белая страница, если даже начинать придется с болезни, смерти...

Кажется, уходить собираются мои соседки. Мамаша (или бабушка) свернула журнал и кладет его в сумку. Девочка, глянув на нее, обеими ногами стала стирать свой дом, сад, собаку.

— Теперь будут грязные, — говорит женщина про ее туфельки.

Девочка, не кончив дела, обрадованно побежала к фонтану.

— Я помою.

Почти все стерла. Осталась одна собака. Да вот я.

А мама (или бабушка) девочки достала из сумки толстую книгу.

Какая будет сегодняшняя встреча с Женей? Такая же, как в Италии? Нет, конечно, ведь уже была итальянская, и она изменила кое-что. Снова чистая страница белеет впереди. До чего же человек неисправим. Это в моем-то состоянии! А что в моем: живу ведь, и даже (чтобы только не накликать!) в голове почти чисто, боль ушла в одну, далекую точку. Оставайся, оставайся там, далеко... Будь хоть сегодня человеком! Имею же я право на эту встречу. Следующее 15 мая будет лишь через 12 месяцев. Тем более что итальянская была не

столько с нею встреча, сколько с ним, снова со Стипендиатом. Сколько ни идем мы с ним вперед, но по отношению друг к другу — неподвижны. Если и сдвинет жизнь, то ненадолго, тут же сделает поправку.

Я бежал через вокзальную толпу, цепляясь своей кинокамерой за пассажиров, протолкался на перрон, и вдруг — он! Нетерпеливо смотрит в мою сторону, даже прикрикнул капризно:

— Обязательно надо опоздать!

Пораженный, я пробормотал:

— Вы — тоже?

По лицу его я наконец понял, что не ко мне он обращался. Оглянулся — она, Женя, и почти прежняя! Только возле глаз глубокая синева, да незнакомая складка у рта появилась.

Правда, я увидел только свет, а остальное разглядел уже потом. Она остановилась возле меня и с вызовом громко сказала:

— Пятнадцатого мая я ждала. Два раза уже.

Муж смотрел из-под шляпы потрясенно, хотя он лишь понял, что жена разговаривает с убийцей их дочери.

Потом я рассмотрел, что именно Стипендиат больше всех изменился: исчезла куда-то (точно вглубь ушла) великолепная мускулатура лица, располневшее, оно потеряло свою четко направляемую изменчивость, сделалось вяло брезгливым. Этого брезгливого выражения Стипендиату явно хватало на все. И на всех.

Возможно, у других это иначе, но в чужой стране на себя я смотрю больше и пристальнее, чем на исторические стены и местные лица. Глупо столь далеко ездить, чтобы рассматривать самого себя, но это так.

А тут еще и она рядом и он. Другая жизнь, заботы чужие, туристские радости были для меня только новым фоном, случайными декорациями.

Альпийские пейзажи, неприятно поражающие своей похожестью на раскрашенные, глянцевые открытки, рядом, у соседнего окошка — она и он; ночь, красночерным расплавленным шлаком дышит вода под самыми колесами поезда, а в соседнем купе она...

С чемоданами, сумками гулко топаем по ночным улочкам, по плитам маленьких, точно декорации к Шекспиру, площадей, через совсем уже театральные горбатые мостики Венеции, слушая всплески воды в стороне или под ногами. Но я, кажется, здесь лишь для того, чтобы видеть, как идет, как по-туристски смотрит по сторонам эта женщина.

Дверь гостиницы открыла итальянка с очень заметными усиками над верхней губой. «Бонджорно!» — тут же демонстрирует кто-то из наших свой итальянский. Она отвечает и, поговорив с гидом, снимает с доски ключ с большой деревянной грушей.

— На двоих, пожалуйста, — объявляет гид.

Стипендиат уверенно протягивает руку, берет и говорит, почему-то глянув в мою сторону:

— Грацио! Мы — двое.

И показывает итальянцам два растопыренные пальца на манер черчиллевского: «Укропа!» («Победа!»)

Я лежал в темной большой комнате под влажным, как глина, одеялом, а перед глазами стояла и не уходила Женя.

Она определенно ненавидела меня, когда муж показывал свое «V». Такое у нее было лицо.

Сколько раз ты засыпал моментально, отвезя ее к мужнему порогу, а тут почему-то не мог, хотя и любвито не было прежней, а одна только тупая боль. «Грацио! Грацио!» — я ненавидел это ни в чем неповинное слово.

Стало светать, близко и жестяно застучали колокола. Я отвел в сторону открывающуюся внутрь двойную ставню и стал смотреть вниз. Среди первых, кто уже не спал, много монахов. А другие монахи уже колотят в колокола. Как те цыгане, из которых в году пятидесятом хотели сделать трудовую артель жестянщиков. Взрослые разбредутся по привычным цыганским делам, а цыганята лупят, кто во что — на радость начальству. «Грацио!» Монахи, цыгане... При чем тут цыгане, если я в Венеции?!

Оделся и ушел бродить по городу, прихватив свою кинокамеру. Сколько я ни старался оставлять их вдвоем, нас все равно было трое, и, по крайней мере, двое это помнили каждую минуту. Снимаю поблескивающую лужами морской воды площадь Святого Марка, а в глазок ищу, чтобы захватить желтоволосую женщину в плаще. Втискиваюсь в стенку дома, чтобы снять громаду флорентийского собора, бело-зеленого, как неожиданная березовая роща, зажатая городом, а кончаю кадр на ней.

Заметив это, она улыбалась далекой, как бы из нашего прошлого, улыбкой и отворачивалась, тут же погрустнев. А я гнал пленку «Кварца», чтобы утащить ее в свой город и там смотреть.

А потом присутствовал при семейной сцене — и за этим, выходит, ехал в Италию.

У меня заснята белая, с маленькими, как бойницы, окнами стена флорентийского дома, на которой мемориальная доска с именем

Федора Достоевского. Из магазинчика напротив вышла Женя (я и это заснял), нервно прошла в одну, в другую сторону. Я направился к ней.

— Как баба, — сказала она, глянув на дверь магазинчика, — не могу.

Я зашел в магазин. Весь прилавок в шерстяных кофтах: черных, белых, розовых, голубых и еще какихто; Стипендиат и полная, с одышкой, но очень энергичная итальянка увлеченно обсуждают с помощью карандаша цену.

— Женя! — сердито окликнул через плечо муж и увидел меня. Не сходящая с его лица брезгливость приобрела вполне дружелюбную окраску. Как-никак земляки среди чужих.

— Надо торговаться, — убежденно сказал он, — если хотим от них уважения. А то и правда поверят, что у нас ничего этого нет.

Я постоял и ушел.

Скоро он вышел к нам, торжественно-брезгливо неся сверток, вручил жене. Она все-таки разорвала уголок бумаги, взглянула.

— То-то же, — брезгливо пошутил муж, — а то все стесняемся. Я бы не пускал за границу таких. Укрепляете экономику капитализма.

А потом была та стычка.

У меня и фотография есть: сидим чинно и пьем кофе из маленьких чашечек. На стенах знакомые плакаты, стеллажи с книгами. Общество итало-советской дружбы.

Пожилой председатель пытался развлекать нас, а нам, уставшим от впечатлений, было неловко, что нас так трудно расшевелить.

И тогда появился итальянец с удивительно живым лицом и горящим взглядом, с ним — худенькая, застенчивая женщина. Короткая вспышка разговора — быстрого и плавного — мы тоже подключены, уже спорим. Итальянец весело кричит, а женщина переводит его крик тихим голосом, и он сам слушает ее перевод, глядя на нас дружелюбно, даже влюбленно.

— Ну что, хорошо служило искусство богатым Медичи? Вы, конечно, в восторге от Возрождения?

Мы повинились: действительно в восторге.

— Я — тоже. Дело прошлое. Хуже, когда и наши той же дорожкой готовы идти. Кто? Да ваш любимый Ренато Гуттузо.

Мы, конечно, заступились за Гуттузо.

— А вы видели его последние работы? Меняются, к сожалению, люди, — настаивал итальянец.

Заговорили, конечно, цро Китай.

— Марксизм, как и атом, — переводила застенчивая маленькая женщина, — невероятная сила. Потому так опасно, если не в тех руках.

Мы, понятно, возразили, что там — уже психоз, религия, а не марксизм.

Снова вернулись к искусству. Черноглазый горячун заметил, что русские больше интересуются Антониони, чем сами итальянцы. Похвалил нашу «Балладу о солдате» и еще что-то, упрекнул за схематизм другие фильмы.

— У нас безголосые певички так выступают. Завернется в национальный флаг и выйдет на эстраду. Вставай и аплодируй.

Брезгливо молчавший все это время Стипендиат вдруг вмешался, как бы заслоняя всех от незамечаемой нами опасности:

— Я не смотрел некоторые фильмы, но сам тон, которым товарищ злоупотребляет...

И пошел, и пошел! Из каких источников да на чью мельницу?

Горячуну что-то понравилось в словах Стипендиата, он весь развернулся к нему и потащил на глубину. И когда неповоротливый наш философ понял, куда заплыл — рванулся назад, барахтаясь и отплевываясь.

Я не выдержал, попросил:

— Лучше не влезайте в спор с марксистом, если силенок мало.

А наш итальянский оппонент вдруг затих, молчал, пока неловко переходили на другие темы. Среди разговора поднялся и, попрощавшись, ушел, а с ним и застенчивая женщина.

— Когда была фашистская попытка Тамброни, — как бы извиняясь, сообщил хозяин нашей встречи, — Джонфранко тяжело ранили. Горячий очень. Как и ваш товарищ.

В автобусе, видимо, оценив общее тягостное молчание, Стипендиат громко произнес:

— Нечего! Надо давать отпор!

— Кому, кому отпор? — почти выкрикнула его жена. — Молчи уж, если мало силенок.

Кажется, именно мои слова в ее устах взорвали Стипендиата:

— Хлюпики — везде хлюпики.

И тогда понесло меня. Гимн пропел «хлюпикам». Мол, сегодня, именно сегодня без них было бы и вовсе опасно жить. Для американца Дина Раска «хлюпики» — те студенты, что в Бэрклийском университете встретили его слова об обязательствах во Вьетнаме криками: «Лжецы! Лицемеры!» И разве не «хлюпики» с точки зрения некоторых солидных итальянцев те молодые гитаристы, которым мы

вместе с портовыми грузчиками аплодировали? С их плакатом: «Ох уж эти господа!», с их песенками партизанскими и особенно ими же сочиненными: «Если ты, Моро, позовешь нас во Вьетнам, придется тебе очень громко звать, и еще и еще раз, а потом ты услышишь: «Топай туда сам, Моро!»

Атомному реактору небось тоже неприятны кадмиевые стержни, которые мешают ему разогреться до конца. А что он без них взлетит на воздух — этого сверхмощный тупица не знает. Не запрограммирован на рефлектирующего «хлюпика». И почему только этих «хлюпиков» так не выносят гитлеры всех времен и народов? Раздражают их? А может, мешают или даже пугают? Прерывают цепную реакцию оболванивания неуместными вопросиками, сомнениями. Нет чтобы сразу и миллионноголосым хором возгласить: «10 000 лет Самому-Самому!»

Подразнил я моего Стипендиата. Правда, потом жалел, что подарил ей еще и это унижение.

На словах спорить что! В самой жизни с ним поспорь, — тебе это не очень, кажется, удалось.

...Столько раз поджидал ее, но никогда не ждал так. Точно вместе с нею придет, вернется и еще что-то. Ведь было же, было!.. Но вдруг начинает казаться, что ничего не было, что я всегда сидел здесь и ждал. Такое же чувство возникало, когда Женя появлялась у меня, а потом уезжала. Я возвращался в комнату, смотрел на все, что хранило следы ее присутствия, и должен был убеждать себя: да была же, ведь была, было все... И когда снова появлялась она и я смотрел на нее, ее смущал мой слишком пристальный, нескромно-запоминающий взгляд.

— Ну не надо, не смотри.

Ну что ж, так и должно быть. Я уже давно понимал, что не придет. Сидел и ждал просто так, для себя, досматривал фильм.

Где она сейчас, вот в это мгновение? Говорит что-то, смеется, встала, идет к столу... Я ее почти вижу: вот-вот повернется в мою сторону.

Меня не перестают поражать самые обыкновенные вещи: в какое-то мгновение ты есть здесь, только здесь, хотя мог быть совсем в другом месте, но и там ты был бы здесь. Всегда с особым чувством ловлю глазами, как мелькает в стеклах витрин автобус, в котором еду на работу: в этом автобусе — я, в этом пространстве — я, и нигде больше меня нет.

Интересно, какое чувство должен испытывать космонавт, видя нашу планету, на которой его нет, только его нет?..

Набираю номер ее пространства, сейчас оно распахнется, гулкое и длинное, как коридор, наблизится, и я услышу ее голос. Сразу и так просто...

Квартира слушает!

Мать Жени. Можно перевести дыхание. Это от его имени «квартира слушает». Спрошу Женю, и голос тотчас изменится.

— А Женечка в больнице, — голос почему-то и вовсе радостный.

— Больна? В какой... не скажете?

— Она в этом... роддоме. А кто спрашивает?

— Спасибо.

Спасибо! Грацио! «Нас двое. Грацио!» А как же Аня? Но при чем тут Аня? Странно иногда и больно подвертывается мысль, как нога на неожиданной ступеньке. Когда-то говорил Жене, стараясь убедить и самого себя: на всю жизнь нам остается лишь то, что мы не взяли. Ну вот, именно по твоей формуле — что ж не рад?

А странно все в мире, все странно, на чем вдруг останавливаешься. Вот уже и тот час, когда сидел, ждал, тоже стал воспоминанием. С удручающим автоматизмом жизнь пеленает нас в бесконечный рулон того, что было, есть, в воспоминания о воспоминаниях. Сколько ни сиди на знакомых скамейках, сколько ни вращай себя в обратную сторону — весь рулон остается на тебе. Поневоле затоскуешь, что ты не Чехов, что не можешь время от времени оставлять часть этого на бумаге. Не Чехов, а потому новая кожа нарастает под старой, и еще одна, и еще, и все остается на тебе и уйдет вместе с тобой... Душно. Зашевелился мой Точильщик, опять готовится запустить колесо.

...На скамейке, на которой я ждал, уже сидит моя знакомая незагоревшая девочка. Посмотрела, будто я тут никогда и не сидел. И цифры мои затерла, на их месте — палочки, единицы. Оглянулся еще раз, видя, что ухожу, не спорю, она разрешает себе ответить на мою улыбку.

А каменные детишки все играют в застывший мяч и сами застыли, ждут: что я?

В институт генетики, к Георгию-2? Надо бы, но это потом. Нет, хорошо, что Женя не увидит меня. Такого. Я все бы обманывал себя, не будь того случая в клинике. Инга, наша красавица лаборантка, вернулась из туристской поездки, усадила себя за стол, не выпуская из пальцев сигареты, а тут вошел я. Сел напротив, смотрю на нее, какая она загоревшая, новая. А она чуть глянула на отчаянно улыбающегося человека с холодными висками и удивленно нахмурилась. Не

узнала в первый миг! Тут же спохватилась, даже встала, чего никогда не делала. Но у меня уже упало сердце: все, слезай с крыши!..

Нет, это просто удача, что так совпало и Женя не пришла.

А Точильщик мой не ленится. Боль под черепом, как перекос, велосипедная «восьмерка», то появляется, то затихает во все убыстряющемся ритме. (Гонит меня Точильщик в аэропорт, морфинист проклятый. Там у нас в чемодане шприц.)

У-ух, кажется, отпускает! Вращение замедлилось, не слилось в сплошное, наждачное, слепящее колесо пытки. Жарко-жарко сделалось, как после пережитого ужаса.

Нет, у моего Точильщика совесть есть. Честно выждал в сквере весь час. Не пришла — теперь у него свой график.

С Точильщиком мы моментально — в два слова — ссоримся, но и миримся тут же, как только он остановит колесо. Совсем как тот монах из Жирович. Лежит под кобальтовой пушкой, задрав бороденку, и кричит:

— Ды што ж тэта ты, га?! Я тебе сорок год служил верой-правдой, Советы на меня гневались, а я служил. За што ж ты меня так, га?!

Легче ему стало, помягчел живот, выписывают деда, а он бормочет, мирится со своим богом:

— Может, я и виноват: не так, как тебе хотелось, повернулся, не успел что-то. Бо старость, сам знаешь, что это за радость...

Да, это бывшая моя улица — пространство моего детства. Когда дома здесь были деревянные, с заборами и чугунными, похожими на бомбы тумбами в одном и другом конце улицы, эта железная ограда на высоком постаменте очень смотрелась, придавала нашей окраине даже какую-то парадность. Мы очень гордились нашей оградой. Теперь мы сильно продвинулись к центру, дома выросли. Детишек много во дворах. Тоже, наверное, сбегаются на музыку...

Квадратные прутья ограды нерушимо ровные, беспощадные, как парадный, военный шаг. Только один выгнулся, как от боли.

Даже мне не верится, что согнула его женская рука, мягкая, теплая, которую я, трехлетний, не отпускал во сне, протестовал плачем, когда ее утром тихонько забирали, а отец подсовывал свою. («А-а, больша-ая, не мамкина!»)

Что ж это за сила такая, оставившая здесь железный след, спасшая когда-то меня?

Сколько раз она (мы не знаем сколько раз) — эта сверхсила любви человеческой — побеждала угрозу, нависавшую над нами, людьми! Но разве существовала когда-либо угроза, равная сегодняшней?

Когда шла война, помню, была такая вот мысль и даже не мысль, а скорее чувство: «Хорошо хоть, что смерть не достанет тех, что за Москвой, за Уралом!» И ей же богу, легче было о своей смерти думать.

Тогда не могла достать всех. Сегодня может. Если не окажется человек сильнее самого себя. Потому что и в атомный век угроза — в самом человеке.

Один наш больной — умирающий от рака учитель — убеждал меня, торопливо, задыхаясь, точно от этого он умирает: люди должны сговориться и нарочно забыть, забывать имена всех честолюбцев и властолюбцев, чтобы не плодить новых, от которых может погибнуть планета... Дети, кого мы не должны помнить, должны забыть сегодня: Батыя, Берия, Герострата, Гитлера, Маккарти, Мао... От «А» до «Я» — весь алфавит.

Нет, сегодня я не пойду за ограду. Общая, братская могила нашей улицы — шесть шагов на три. И она словно цветочная клумба. Не веришь в нее. Ужас того последнего мгновения повис, изогнувшись, здесь, на ограде... Но черные прутья почему-то размякли, сбились с парадного шага, заколыхались, как стебли в воде... Точильщик всерьез берется за дело. Все, как сквозь воду. Я уже не различаю и того единственного железного изгиба: все прутья колышутся, мягко изгибаются, плывут...

Щиты, щиты, фанерные и жестяные, вдоль моей новой улицы. От праздника осталось. Цветные ломаные диаграммы, цифры: чего и сколько будет к семидесятому и восьмидесятому годам. Эти будущие цифры очень странно смотрятся. Впрочем, так же непривычно смотреть было когда-то на «1960», «1950», «1940».

...Я иду, почти бегу за человеческими спинами, обгоняю кого-то, спешу навстречу лицам, глазам, торопливо пропускаю их мимо себя, боясь увидеть, что глаза внезапно дрогнут, удивятся, испугаются — как тогда Инга. А во мне — кто-то еще: он по-детски цепко прижимает теплую руку матери и, сонно жалуясь, всхлипывает: мягкая рука осторожно, ласково высвобождается из детских объятий, я чувствую, что не в силах удержать, спешу навстречу лицам, глазам, ожидая, боясь увидеть их над собой...

1966 — 1967